



Бурлаков

Б Е З Г Л Я Н Ц А

ПРОЕКТ ПАВЛА ФОКИНА

Павел Евгеньевич Фокин
Булгаков без глянца
Серия «Без глянца»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8217142

Булгаков без глянца ; [сост., вступ. ст. П.Фокина]. : Амфора; Санкт-Петербург; 2010

ISBN 978-5-367-01341-2

Аннотация

Михаил Булгаков называл себя «мистическим» писателем. Однако история его жизни и направление творческих поисков открывают совсем другого литератора. В его судьбе было много очевидного, закономерного и предсказуемого. Красноречивые свидетельства самого Булгакова и его близких показывают, что сложившийся о нем миф – всего лишь следствие восторженной легенды о Мастере.

Содержание

«Булгахтер»	5
Личность	9
Облик	9
Характер	13
Особенности поведения	16
Творчество	19
Особенности ума и мышления	23
Идейные взгляды и убеждения	25
Врач	27
Книгочей	29
Театрал и меломан	31
Актерский талант	34
Рассказчик	39
Шутки, розыгрыши, импровизации	42
Мистификатор	46
Развлечения и игры	48
С детьми	51
Жилище	53
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Без глянца Булгаков без глянца

© Фокин П., составление, вступительная статья, 2010

© Оформление. ЗАО ТИД «Амфора», 2010

* * *

*Светлой памяти доброго наставника и друга Светланы
Петровны Князевой*

«Булгахтер»

Все-таки желательно, гражданин артист, чтобы вы незамедлительно разоблачили бы перед зрителями технику ваших фокусов, в особенности фокус с денежными бумажками. Желательно также и возвращение конферансье на сцену. Судьба его волнует зрителей.

М. А. Булгаков. Мастер и Маргарита.

Глава 12. Черная магия и ее разоблачение

Белинский называл Некрасова «практическим человеком». За умение рационально мыслить, трезво оценивать обстоятельства, находить решение сложных жизненных ситуаций, организовывать дело, вести коммерческие переговоры, вступать в отношения с нужными людьми, составлять реалистические планы и последовательно проводить их в жизнь. Добиваться успеха. Жить с комфортом и широтой.

«Мистический писатель» Булгаков был тоже «практическим человеком». Смотрел на жизнь без розовых очков. Видел мир во всей его сложности. Людей понимал с полувзгляда. Отлично разбирался в механизмах человеческих поступков. Знал себе цену. Был уверен в себе. Предприимчив, требователен, настойчив. Целеустремлен. Эти его свойства отмечают все три жены писателя. Они хором свидетельствуют о его энергии в решении насущных задач повседневной жизни, в первую очередь в умении искать работу, зарабатывать деньги, получать пайки, находить квартиры, добиваться своих имущественных прав. В этом смысле он оказался настоящим мужем – хозяином, кормильцем, добытчиком.

А времена выдались совсем непростыми. Всё в России перевернулось и устанавливалось с трудом и натугой. На бытовом фронте шла не менее ожесточенная и гибельная, чем на полях боевых действий, битва за выживание. Фактически гражданской войной были охвачены не только противоборствующие политические силы и ведомые ими войска, но и мирные граждане, обыватели всех мастей и сословий. Более того, когда после многих кровопролитий пушки умолкли и установился внешний мир, внутреннее противоборство за место под солнцем только усилилось.

1920–1930-е годы насыщены напряженными усилиями формирующегося советского социума по созданию внутренней иерархии. Идеалы равноправия и социального равенства, декларированные теоретиками «коммунистического рая», были с первых дней революции атакованы практиками социалистического строительства. Для равноправия и равенства в России не существовало ни экономических, ни исторических, ни культурных предпосылок. Булгаков это прекрасно понимал, потому с таким азартом и даже с каким-то мрачным вдохновением участвовал в этой битве – «ненавидя, кляня и любя». И кстати, каждая отвергнутая супруга причину развода видела не только и не столько в женских преимуществах своей соперницы, сколько именно в том, что новый брак сулил Булгакову расширение его социальных возможностей.

Уроженец Киева, проскитавшись в смутное время по захолустьям и окраинам бывшей империи, он, как только наметилась возможность, перебирается в Москву – в столицу. Он отчетливо осознает, что именно здесь есть хоть какая-то перспектива роста, ибо, чем дальше от центра реальной власти, тем меньше шансов на успех. В Москве он никогда не будет искать места жительства вне Садового кольца, ибо только в этом пространстве возможна необходимая для продвижения вперед интенсивность социальных связей.

Он с жадностью всматривается в окружающую действительность, анализируя факты и делая практические выводы, стремясь понять и освоить правила столичной жизни. «Самое

характерное, что мне бросилось в глаза: 1) человек плохо одетый – пропал». Как только появятся первые деньги, он сразу же купит себе хорошие ботинки. Потом принарядится еще. Увлечшись, обзаведется даже моноклем, но, почувствовав, что переборщил с имиджем, быстро от него откажется. Облекаясь дома в халат, в обществе он всегда подтянут и элегантен.

Люди – их страсти, интересы, возможности – главный инструмент в достижении практических целей. «Я рассчитываю на огромное количество моих знакомств и теперь уже с полным правом на энергию, которую пришлось проявить *volens-nolens*. Знакомств масса и журнальных, и театральных, и деловых просто. Это много значит в теперешней Москве, которая переходит к новой, невиданной в ней давно уже жизни – яростной конкуренции, беготне, проявлению инициативы и т. д. Вне такой жизни жить нельзя, иначе погибнешь. В числе погибших быть не желаю».

Статус – вот еще один рычаг, которым можно повернуть мир к себе. И еще мощнее – мандат, подтверждающий статус! «Кем угодно, когда угодно, что угодно, но чтобы была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто другой не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Тщательная бумажка. Фактическая. Настоящая!» Булгаковский архив хранит в себе массу «практических документов» – разного рода справок, членских билетов, удостоверений и прочих полезных бумаг, свидетельствующих о непрерывной борьбе Булгакова за существование в Стране Советов. В каких только обществах и союзах не состоял автор «Мастера и Маргариты»! Во Всероссийском Профессиональном Союзе работников Просвещения (членский билет № 37846. Выдан 19 февраля 1923). Во Всероссийском Профессиональном Союзе Писателей (членский билет № 361. Выдан 20 апреля 1923). В Профсоюзе Работников Полиграфического производства СССР (удостоверение № 2165. Выдано 15 октября 1927). В Ленинградском обществе Драматических и музыкальных писателей (драмсоюз) (членский билет № 371 В. Выдан в 1928). В Профессиональном Союзе Работников Искусств СССР (Всерабис) (членский билет № 134661. Выдан 22 октября 1930). Во Всероссийском обществе драматургов и композиторов (Всероскомдрам) (членский билет № 1791. Выдан 7 ноября 1931). Был действительным членом Клуба Дома Ученых (членский билет № 65. Действителен до 1 января 1927). Состоял в Московском Отделении секции научных работников (удостоверение № 937. Действительно по 1 января 1929, продлено по 1 января 1930). Входил в клуб мастеров искусств ЦК РАБИС (временный членский билет № 100. Выдан 11 ноября 1935). С 1924 по 1925 годы уплачивал членские взносы Обществу Друзей Воздушного Флота СССР (членский билет № 513933. Выдан 17 апреля 1924). 1 апреля 1925 получил удостоверение № 390410 Комиссии помощи детям СССР, которое подтверждало, что гр. Булгаков М. А. «имеет право на звание „Друг детей“». 29 мая 1928 датирован членский билет № 38, выданный Булгакову Кружком друзей искусства и культуры. 15 марта 1931 вступил в МОПР (Международную организацию помощи борцам революции; членский билет № 260)! Дьяволиада?

Оставив медицинскую практику для литературного труда, прибывший в Москву Булгаков начинает не с публикаций, а с поиска места – он отправляется в ЛИТО Наркомпроса и в одночасье становится секретарем этого малопонятного, но зато статусного ведомства, которым руководит сама Н. К. Крупская, в ту пору еще жена Ленина! Автобиографический герой «Записок на манжетах» с хлестаковской восторженностью восклицает: «После Горького я первый человек!» Быстро обзавелся конторкой красного дерева, стулом, чернилами и секретаршей. «По моему приказу она разложила на столе стопками всё, что нашлось в шкафу... И сразу стало похоже на канцелярию». ЛИТО просуществовало недолго и было упразднено, но за краткое время его существования Булгаков с помощью Крупской добился первой своей московской жилплощади. Мистика?

Порыскав по Москве, Булгаков устраивается наконец в газету железнодорожников (!) «Гудок» – «литературным правщиком». Статус, конечно, обидный (для «первого после Горького!»), но зато стабильный заработок, творческое общение, новые связи, ну и разные бонусы в виде ведомственной столовой, членства в профсоюзе и т. п. Тем более, что легкость пера, острый глаз и остроумие очень быстро делают Булгакова одним из ведущих фельетонистов газеты. Появляются первые признаки если не славы, то известности. Оперативность и тираж «Гудка» довершают дело. Чудеса?

Впрочем, газетные заметки пишутся больше для денег, а сокровенные планы связаны с серьезным, «наполеоновским» жанром – с романом. «Белая гвардия» (почти «Война и мир»!) пишется кровью сердца и со всем блеском молодого таланта. Но напечатать удастся лишь первую треть. Журнал, в котором началась публикация романа, закрывают. Из-под пера Булгакова выходят несколько сатирических повестей, но их издательская судьба в Советской России достаточно проблематична. Слишком зло и правдиво рисует Булгаков общественный беспредел нового мира, его бестолковость, хамство, духовную пустоту и агрессивность. Кто же возьмется печатать? Даже слушают с опаской, а особо проворные спешат донести в ГПУ. Чертовщина?

В какой-то момент Булгаков осознает, что в газетном жанре он больше работать не может, а иной своей прозы он здесь никогда не продаст. И тогда обращает свои взоры к театру, увлечение которым он испытал еще в юности. По существовавшим правилам, автор получал не только гонорар, установленный договором, но и процент отчислений с каждого спектакля. Заметим здесь же, что пьесу он предлагает не первому попавшемуся театру, а первому в те годы в Москве драматическому театру – Московскому Художественному, руководимому К. С. Станиславским и посещаемому членами советского правительства и ЦК партии, лично товарищем Сталиным. Пьеса «Дни Турбиных» не только имела успех в публике (что было обеспечено несомненным дарованием драматурга), но, главное, пришлась по вкусу генеральному секретарю, с которым у Булгакова возникнет невидимая и не всем понятная, но осязаемая окружающими связь, нечто личное. (Притом настолько личное, что позволит в будущем Булгакову писать отнюдь не официозные письма вождю, а Сталина заставит откликнуться на них телефонным звонком.) Судьба?

Участь драматурга, впрочем, оказалась не самой легкой (булгаковские пьесы годами не выпускались, снимались с репертуара, подвергались изменениям, заграничные постановки приносили доход третьим лицам), но театр в той или иной форме оставался для Булгакова главным источником существования до конца его дней (когда были сняты с репертуара все драматические произведения Булгакова, он перешел либреттистом в Большой театр). И не только материальным. В искусственном пространстве театра социальная иерархия смещалась, смущалась, зритель – кем бы он ни был! – на малый срок оказывался во власти искусства. И пусть первыми на сцене были актеры, властителем дум оставался драматург. Его тоже вызывали к рампе, и он лично мог посмотреть в глаза Зрителю. И Зритель смотрел с интересом. Магия?

Попыткой вырваться из удушливой петли обстоятельств стало решение написать пьесу о Сталине. И хотя Елена Сергеевна Булгакова в своем дневнике отрицает то, что писатель хотел этим «перебросить мост и наладить отношение к себе», что он «просто хотел, как драматург, написать пьесу – интересную для него по материалу, с героем, – и чтобы пьеса эта не лежала в письменном столе, а шла на сцене», очевидно, что «практический человек» Булгаков, искушенный боец и реалист, понимал, какую ставку он делает. И потому так сокрушительно – смертельно – было поражение!

Сначала пьеса называлась «Пастырь». По-библейски возвышенно и пафосно. Но в тоже время с учетом контекста биографии главного героя («Пастырь» – одна из партийных кличек молодого Сталина). Булгаков, конечно, понимал, что никакая цензура нико-

гда не утвердит его. Однако он его озвучивал, и, конечно, не без умысла. Тому, о ком он все это время думал, было сообщено. Но никакой реакции не последовало – на этот раз даже «испорченный телефон» промолчал. Пришлось искать более нейтральное. В итоге Булгаков дает пьесе совершенно безликое на первый взгляд название – «Батум». Место действия. И только? Вряд ли.

В жизни самого Булгакова Батум был важным, а вернее – судьбоносным городом. Летом 1921-го там, в Батуме, он принял главное решение в своей жизни – остаться в России. Тогда из Батума еще можно было найти способ уехать, и если бы Булгаков захотел, он бы уехал. Но что его ждало в эмиграции? Он уже точно знал, что медициной больше заниматься не будет, а жить литературным трудом на чужбине, тем более писателю без имени, только лишь начинающему свое творческое поприще, невозможно. Стать разнорабочим, обратиться в люмпена, утратить всякий социальный статус – кошмарнее этого молодому амбициозному человеку трудно себе что-либо представить. Именно в Батуме определилась будущность писателя Булгакова. Батуму он обязан всем, что случилось с ним впоследствии. И вот в 1939#м, уже состоявшийся литератор, Мастер, он решается вновь доверить свою судьбу далекому южному городу – его имени. Пусть повезет!

Бес попутал! Он – бильярдист с многолетним стажем, просчитывавший каждый удар, решил попробовать сыграть в нелюбимую им рулетку и поставить на Zero. Здравый расчет подкрепить иррациональной удачей. Увы! В жизни «мистического писателя» Булгакова ничего мистического никогда не происходило. Вся его «мистика» – и апокалиптика «Белой гвардии», и фантазмагии сатирических повестей, и небывалый, неподражаемый, смешной и жуткий, гротескный и гиперреалистический роман «Мастер и Маргарита» – была лишь игрой воображения, талантливой, яркой, феерической, с большим знанием закулисных технологий и спецэффектов, искусно костюмированной и загримированной, увлекательной и увлекающей. Но действие заканчивалось, и неизбежно наступало разоблачение. Кто-кто, а Булгаков знал это наверняка. И не удивился, когда замороженная чарами его искусства постановочная «бригада», отправившаяся в творческую командировку в Батум, в Серпухове была остановлена какой-то женщиной, крикнувшей в коридоре вагона: «Булгахтеру телеграмма!» Он только тихо поправил: «Это не булгахтеру, а Булгакову».

«А тут еще кот выскочил к рампе и вдруг рявкнул на весь театр человеческим голосом: – Сеанс окончен! Маэстро! Урежьте марш!!»

Занавес

Павел Фокин

Личность

Облик

Елена Сергеевна Булгакова (урожд. *Нюрнберг*, в первом браке *Неелова*, по второму мужу *Шиловская*; 1893–1970), третья жена Булгакова в 1932–1940 гг., его муза последних лет жизни:

У него были необыкновенные ярко-голубые глаза, как небо, и они всегда светились. Я никогда не видела у него тусклых глаз. Это всегда были ярко горевшие интересом, жадностью к жизни глаза [5; 382–384].

Валентин Петрович Катаев (1897–1986), писатель, драматург, поэт; сослуживец Булгакова в 1920#е годы в газете «Гудок»:

...У него действительно, если мне не изменяет память, были синие глаза на худощавом, хорошо вылепленном, но не всегда хорошо выбритом лице уже не слишком молодого блондина с независимо-ироническим, а временами даже и надменным выражением, в котором тем не менее присутствовало нечто актерское, а временами даже и лисье [10; 219].

Александр Михайлович Файко (1893–1978), драматург, сосед Булгакова:

[В начале 1920#х] Булгаков был худощав, гибок, весь в острых углах светлый блондин, с прозрачно-серыми, почти водянистыми глазами. Он двигался быстро, легко, но не слишком свободно [5; 347].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова (1895–1987), вторая жена Булгакова в 1924–1932 гг.:

Передо мной стоял человек лет 30–32; волосы светлые, гладко причесанные на косой пробор. Глаза голубые, черты лица неправильные, ноздри глубоко вырезаны; когда говорит, морщит лоб. Но лицо в общем привлекательное, лицо больших возможностей. Это значит – способное выражать самые разнообразные чувства. Я долго мучилась, прежде чем сообразила, на кого же все-таки походил Михаил Булгаков. И вдруг меня осенило – на Шалапина!

Одет он был в глухую черную толстовку без пояса, «распашонкой». Я не привыкла к такому мужскому силуэту; он показался мне слегка комичным, так же как и лакированные ботинки с ярко-желтым верхом, которые я сразу вслух окрестила «цыплячьими» и посмеялась [4; 88].

Валентин Петрович Катаев:

Это были двадцатые годы. Бедствовали. Одевались во что попало. Булгаков, например, один раз появился в редакции в пижаме, поверх которой у него была надета старая потертая шуба [5; 123].

Арон Исаевич Эрлих (1896–1963), писатель, сценарист, мемуарист; сослуживец Булгакова в 1920#е годы в ЛИТО Наркомпроса и газете «Гудок»:

Он шел мне навстречу в длинной, на доху похожей, мехом наружу шубе, в глубоко надвинутой на лоб шапке. Слишком ли мохнатое, невиданно длинношерстное облачение его или безучастное, какое-то отрешенное выражение лица было тому причиной, но только многие прохожие останавливались и с любопытством смотрели ему вслед [16; 35–36].

И. С. Овчинников, сотрудник газеты «Гудок», сослуживец Булгакова:

Тулупчик единственный в своем роде: он без застежек и без пояса. Сунул руки в рукава – и можешь считать себя одетым.

Сам Михаил Афанасьевич аттестует тулупчик так:

– Русский охабень. Мода конца XVII столетия. В летописи в первый раз упоминается под 1377 годом. Сейчас у Мейерхольда в таких охабнях думные бояре со второго этажа падают. Пострадавших актеров и зрителей рынды отвозят в институт Склифосовского. Рекомендую посмотреть... [5; 131]

Татьяна Николаевна Кисельгоф (урожд. Лаппа; 1891–1982), первая жена Булгакова в 1913–1924 гг. Из беседы с Л. Паршиным:

Саянский прекрасно карикатуры рисовал. У меня был его рисунок – мы с Булгаковым и Саянский с женой. Замечательно было сделано! Михаил в пижаме, как он всегда дома... неаккуратный такой, брюки приспущены, клок волос висит... [12; 107]

Николай Петрович Ракицкий (1888–1979), ботаник, филолог и садовод, муж писательницы С. З. Федорченко:

Устроив в печать «Белую гвардию» и получив деньги, Михаил Афанасьевич решил обновить свой гардероб. Он заказал себе выходной костюм и смокинг. Купил часы с репетиром. Приобрел после долгих розысков монокль. Как-то пришел посоветоваться – где бы ему можно было приобрести шляпу-котелок. Я ему предложил свой, который у меня лежал в шкафу с 1913 года, привезенный мною в свое время из Италии. Котелок был новый, миланской фабрики (без подкладки). Этому неожиданному подарку Михаил Афанасьевич обрадовался, как ребенок. «Теперь я могу импонировать!» – смеялся он [13; 172].

Александр Михайлович Файко:

Внешне перемена выражалась довольно забавно: он заметно преобразил свой наружный вид, начиная с костюма. (...) Среди скромных и малоэффектных людей, он появлялся в лихо отглаженной черной паре, черном галстуке-бабочке на крахмальном воротничке, в лакированных, сверкающих туфлях, и ко всему прочему еще и с моноклем, который он иногда грациозно выкидывал из глазницы и, поиграв некоторое время шнурком, вставлял вновь, но, по рассеянности, уже в другой глаз... [5; 349]

Август Ефимович Явич (1900–1979), журналист.

С виду это был барин, спокойный, доброжелательный, насмешливый, с продолговатым лицом, зачесанными назад мягкими волосами и светлыми глазами [5; 157].

Арон Исаевич Эрлих:

Рано поредевшие светлые волосы его тщательно приглажены, должно быть по утрам он долго их обрабатывает крепкой щеткой и туалетной водой. Галстук бабочкой. Парадный черный пиджак, брюки в полоску [16; 67–68].

Михаил Михайлович Яншин (1902–1976), русский актер, режиссер. Первый исполнитель роли Лариосика в спектакле МХАТ по пьесе Булгакова «Дни Турбиных»:

Те, кому доводилось встречаться с Михаилом Афанасьевичем в ту пору, в середине двадцатых годов, помнят этого чуть сутулящегося, с приподнятыми плечами, светловолосого человека, с немного выцветшими глазами, с вечным хохолком на затылке, с постоянно рассыпавшимися волосами, которые он обыкновенно поправлял пятерней. Чувствовалась

в этом особенная, я бы сказал, подчеркнутая чистоплотность как внешнего, так и внутреннего порядка [5; 269].

Эмилий Львович Миндлин (1900–1981), писатель, мемуарист:

В Булгакове всё – даже недоступные нам гипсово-твердый, ослепительно свежий воротничок и тщательно повязанный галстук, не модный, но отлично сшитый костюм, выутюженные в складочку брюки, особенно форма обращения к собеседникам с подчеркиванием отмершего после революции окончания «с», вроде «извольте-с» или «как вам угодно-с», целование ручек у дам и почти паркетная церемонность поклона, решительно все выделяло его из нашей среды. И уж конечно, конечно, его длиннополая меховая шуба, в которой он, полный достоинства, поднимался в редакцию, неизменно держа руки рукав в рукав! [5; 145–146]

Софья Станиславовна Пилявская (1911–2000), актриса театра и кино:

Необыкновенно элегантный, подтянутый, со все видящими, все замечающими глазами, с нервным, очень часто меняющимся лицом [5; 259].

Юрий Петрович Полтавцев (1908–1998), харьковский адвокат:

[1928] Высокий, худощавый, светловолосый, с очень нервным лицом. Всматривающиеся умные глаза... [5; 328]

Екатерина Михайловна Шереметьева (1901–1991), завлит Красного театра в Ленинграде:

По-разному описывают его внешность, мне помнится очень гармонично созданный природой человек – стройный, широкоплечий, выше среднего роста. Светлые волосы зачесаны назад, высокий лоб, серо-голубые глаза, хорошее, мужественное, выразительное лицо, привлекающее внимание [5; 368].

Виталий Яковлевич Виленкин (1911–1997), искусствовед, театровед, литературовед, мемуарист:

Я всегда ловлю себя на том, что у меня безнадежно не получается цельности даже внешнего портрета. Портрет расплывается, как только попытаешься слить воедино особенности его внешности – лица, рук, фигуры, походки, манеры. Боишься литературности. Вот и приходится ограничиваться тем, что сразу подсказывает память, то есть какими-то отдельностями и штрихами, не сведенными воедино. Тогда начать можно, кажется, с чего угодно: хотя бы с того, каким крепким, небезразличным, всегда что-то значащим было его рукопожатие. И тогда сразу вспомнится его пристальный, ясный, прямо тебе в глаза проникающий взгляд, подвижность плотной, спортивной фигуры, острый угол всегда чуть поднятого правого плеча, чуть откинута назад светловолосая голова... Но тут же возникают какие-то уточнения: ясный взгляд? – да, но эти серо-голубые глаза были с каким-то стальным оттенком; стремительный, легкий? – да, но я видел его иногда и тяжелым, погасшим, бесконечно усталым. Особенно в последние годы [5; 282].

Федор Николаевич Михальский (1896–1968), театральный деятель; с 1918 инспектор МХТ; в дальнейшем главный администратор, помощник директора МХАТ; с 1937 директор музея МХАТ; прототип администратора Филиппа Филипповича из «Записок покойника» («Театрального романа»):

Теперь, через много лет, вспоминая Михаила Афанасьевича, я почему-то прежде всего слышу его голос – баритон чуть-чуть с носовым оттенком. Порой в нем чувствуется легкая

ласковая ирония и к своему собеседнику, и к самому себе, и к событиям театрального дня. И тот же голос – голос колющий, с бескомпромиссными интонациями, когда посягают на его творчество, на его убеждения [5; 256].

Григорий Григорьевич Конский (1911–1972), актер и режиссер МХАТа:

Я провожаю Михаила Афанасьевича домой, в Нащокинский переулок. Идем молча. Не потому, что не о чем говорить, а потому, что Михаил Афанасьевич о чем-то задумался. Идет он быстро, не глядя под ноги. Выражение лица все время меняется – как будто в голове его непрестанно пробегают разные, сменяющие друг друга мысли. <...>

Одет он в какое-то странное меховое пальто, не подбитое мехом, а мехом наружу, чуть нескладное и вместе с тем очень элегантное. На голове его – шапка этого же меха. И очень странно видеть, как он – такой неуклюжий в этом меховом одеянии – с необычайной легкостью движется своей молодой упругой походкой по накатанному снегу бульвара [5; 335].

Александр Михайлович Файко:

Ранней осенью 1939 года Михаил Афанасьевич и Елена Сергеевна решили поехать в Ленинград, чтобы немножко развеяться, отдохнуть от потрясений и неудач, обрести силы для дальнейшей работы. Я надолго запомнил их отъезд на Ленинградский вокзал.

Они зашли ко мне проститься. После короткого прощания (Михаил Афанасьевич не любил сентиментальностей) я подошел к окну и глядел на них с четвертого этажа. Отчетливо помню спину Булгакова (он был в летнем пальто кофейного цвета и мягкой темной шляпе) – худую, с выступающими лопатками. Что-то скорбное, измученное было в этой спине. Я следил за его высокой фигурой, когда он, согнувшись, садился в такси, резким, характерным жестом отбросив в сторону папиросу. Хотелось крикнуть вслед какое-то прощальное слово, но я никак не мог его найти. Машина мягко тронулась с места и отъехала от нашего подъезда... «Неужели я больше никогда его не увижу, неужели?» – неожиданно подумал я.

Нет, я его увидел, и даже довольно скоро – примерно через месяц. Но Елена Сергеевна привезла обратно не отдохнувшего и успокоившегося, а уже очень больного и как-то сразу постаревшего человека. Михаил Афанасьевич слег и только спустя некоторое время, далеко не сразу, стал выходить к столу. Большей же частью он лежал на своей тахте, в легком халате (всякая излишняя одежда тяготила его) [5; 349–350].

Иосиф Матвеевич Рапопорт (1901–1970), советский актер, режиссер театра им. Е. Вахтангова, педагог:

Однажды я пришел к больному Михаилу Афанасьевичу. Он лежал, отгороженный от света большими шкафами. Когда я вошел, он сел, выпрямившись на белой подушке, в белой рубашке, в черной шапочке и темных очках [5; 364].

Рубен Николаевич Симонов (1899–1968), советский актер и режиссер, в течение многих лет возглавлял театр им. Е. Вахтангова:

Михаил Афанасьевич, тяжело больной, сидел дома, в черном халате, в черной шапочке (какие носят ученые), часто надевал темные очки [5; 358].

Характер

Виталий Яковлевич Виленкин:

Какой был Булгаков человек? На это можно ответить сразу. Бесстрашный – всегда и во всем. Ранимый, но сильный. Доверчивый, но не прощающий никакого обмана, никакого предательства. Воплощенная совесть. Неподкупная честь. Все остальное в нем, даже и очень значительное, – уже вторично, зависимо от этого главного, привлекавшего к себе как магнит [5; 282–283].

Елена Сергеевна Булгакова:

Энергичен он был беспредельно. <...> Булгаков был невероятный. Он мог выйти утром и бегать по всей Москве, добывая какой-то жалкий кусок хлеба. Но, поставив перед собой большие задачи, шел к этому очень твердыми шагами... <...>

Я не встречала по силе характера никого, равного Булгакову. Его нельзя было согнуть, у него была какая-то такая стальная пружина внутри, что никакая сила не могла его согнуть, пригнуть, никогда. Он всегда пытался найти выход [5; 385].

Татьяна Николаевна Кисельгоф. Из беседы с Л. Паришиным:

Л. П. А как Булгаков относился к славе? Рвался к ней или просто писал себе и писал...

Т. К. Очень даже рвался.

Л. П. Очень рвался?

Т. К. Очень рвался, очень рвался. Он все рассчитывал, и со мной из-за этого разошелся. У меня же ничего не было больше. Я была пуста совершенно. А Белозерская приехала из-за границы, хорошо была одета, и вообще у нее что-то было, и знакомства его интересовали, и ее рассказы о Париже... [12; 102]

Игорь Владимирович Белозерский, племянник Л. Е. Белозерской-Булгаковой.
В записи С. П. Князевой:

Булгаков был неверный человек. У него были женщины, у него, наконец, были на стороне прижитые двое детей. <...> Виновником развода с Любовью Евгеньевной (Белозерской. – Сост.) был Булгаков. Он был большим неврастеником, а она здоровая женщина, которая единственная в Москве в то время имела собственный автомобиль и сама его водила. Она увлекалась конным спортом. Это должно было Булгакова раздражать, и, по всей видимости, раздражало. Рядом с ним билась здоровая жизнь.

Александр Михайлович Файко:

Он был слишком нервен, впечатлителен и, конечно, честолюбив [5; 349].

Екатерина Михайловна Шереметьева:

При большой сдержанности Михаила Афанасьевича все-таки можно было заметить его редкую впечатлительность, ранимость, может быть, нервность. Иногда и не уловишь, отчего чуть дрогнули брови, чуть сжался рот, мускул в лице напрягся, а его что-то цапнуло [5; 372].

Виталий Яковлевич Виленкин:

– Скажите, какой человеческий порок, по-вашему, самый главный? – спросил он меня однажды совершенно неожиданно.

Я стал в тупик и сказал, что не знаю, не думал об этом.

– А я знаю. Трусость – вот главный порок, потому что от него идут все остальные. Думаю, что этот разговор был не случайным.

Вероятно, у него бывали моменты отчаяния, но он их скрывал даже от друзей. Я лично не видел его ни озлобившимся, ни замкнувшимся в себе, ни внутренне сдавшимся. Наоборот, в нем сила чувствовалась. Он сохранял интерес к людям (как раз в это время он многим помогал, но мало кому это становилось известным). Сохранял юмор, правда, становившийся все более саркастическим. О его юморе проникновенно сказала Анна Ахматова в стихотворении, посвященном его памяти:

Ты пил вино, ты как никто шутил
И в душных стенах задыхался...
[5; 294]

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

Самые ответственные моменты зачастую отражаются в шуточных записках М. А. Когда гражданская смерть, т. е. полное уничтожение писателя Булгакова стало невыносимым, он решил обратиться к правительству, вернее, к Сталину. Передо мной две записки.

«Не уны... Я бу боро...» – стояло в одной. И в другой: «Папа придумал! И решился»... [4; 163]

Виктор Ефимович Ардов (1900–1976), писатель, сосед Булгакова:

Удивительно обаятелен бывал Михаил Афанасьевич, если собиралась компания друзей – у него или в другом доме. Его необыкновенно предупредительная вежливость сочеталась с необыкновенной же скромностью... Он словно утрачивал третье измерение и некоторое время пребывал где-то на самом заднем плане. Весь шум, сопровождающий сбор гостей, он переживал как бы в тени. Никогда не перебивал рассказчика, не стремился стать «душой общества». Но непременно возникал такой момент, когда Михаила Афанасьевича просили что-нибудь рассказать. Он не сразу соглашался... Это не было похоже на то, как «кобенится» домашнее дарование перед тем, как обнаружить свои возможности перед захмелевшими гостями. Булгаков был поистине застенчив. Но, преодолев застенчивость, он прочно овладевал вниманием общества [5; 342].

Павел Александрович Марков (1897–1980), русский театральный критик, историк театра, режиссер, педагог:

Михаил Афанасьевич обладал действительно огромным обаянием, острым и неожиданным [11; 225].

Сергей Александрович Ермолинский (1900–1984), писатель, драматург, мемуарист:

Он был общителен, но скрытен.

Он был гораздо более скрытен, чем это могло показаться при повседневном и, казалось бы, самом дружеском общении [8; 32].

Виталий Яковлевич Виленкин:

Булгаковский сарказм нередко касался театрального и литературного мира. Но я никогда не слышал от него ни одной завистливой фразы, и он никогда не противопоставлял себя другим писателям, судьба которых складывалась счастливее [5; 294].

Елена Сергеевна Булгакова:

Он безумно любил жизнь. И даже, когда он умирал, он сказал такую фразу: «Это не стыдно, что я так хочу жить, хотя бы слепым». Он ослеп в конце жизни. Он был болен нефросклерозом и, как врач, знал свой конец. Он ослеп. Но он так любил жизнь, что хотел остаться жить даже слепым... [5; 384]

Особенности поведения

Екатерина Михайловна Шереметьева:

Простота, искренность, все пронизывающий юмор, благородство, свобода и застенчивость – все в нем казалось особенным [5; 369].

Павел Александрович Марков:

Он поразил нас с первого взгляда. Было в нем какое-то особое сочетание самых противоречивых свойств. Молодой, хорошо, даже с оттенком некоторого франтовства одетый блондин оказался обладателем отличных манер и совершенно ослепительного юмора. Он воспринимал жизнь с каким-то жадным, неистощимым интересом и в то же время был лишен созерцательности [11; 225].

Евгений Васильевич Калужский (1896–1966), артист МХАТа, знакомый Булгакова, муж О. С. Бокшанской:

Он был безукоризненно вежлив, воспитан, остроумен, но с каким-то «ледком» внутри. Вообще он показался несколько «колючим». Казалось даже, что, улыбаясь, он как бы слегка скалил зубы. Особенное впечатление произвел его проницательный, пытливый взгляд. В нем ощущалась сильная, своеобразная, сложная индивидуальность [5; 244].

Эмилий Львович Миндлин:

Он вообще дивил нас своими поступками.

Появилась моя статья в «Накануне». Редакция напечатала ее двумя подвалами – «Неосуществленный Санкт-Петербург».

Когда я утром пришел в редакцию, Булгаков уже сидел в глубине одной из редакционных кабин. При моем появлении поднялся и с церемонным поклоном поздравил меня с «очень удачной», по его мнению, статьей в «Накануне».

Потом оказалось, что я не единственный, ради которого он специально приходил в редакцию, чтобы поздравить с удачей.

Всякий раз, когда чья-нибудь статья или рассказ вызывали его одобрение, Булгаков считал своим долгом пораньше прийти в редакцию, усаживался на узкий диванчик в кабинете и терпеливо дожидался появления автора, чтобы принести ему поздравления.

Делал он это приблизительно в таких выражениях:

– Счел своим приятнейшим долгом поздравить вас с исключительно удачной статьей, которую имел удовольствие прочитать-с [5; 147–148].

Валентин Петрович Катаев:

«...» В нем было что-то неуловимо провинциальное. «...» Он любил поучать – в нем было заложено нечто менторское. Создавалось такое впечатление, что лишь одному ему открыты высшие истины не только искусства, но и вообще человеческой жизни. Он принадлежал к тому довольно распространенному типу людей никогда и ни в чем не сомневающимся, которые живут по незыблемым, раз навсегда установленным правилам. Его моральный кодекс как бы безоговорочно включал в себя все заповеди Ветхого и Нового заветов.

Впоследствии оказалось, что все это было лишь защитной маской втайне очень честолюбивого, влюбчивого и легкоранимого художника, в душе которого бушевали незримые страсти.

Несмотря на всю свою интеллигентность и громадный талант, который мы угадывали в нем, он был, как я уже говорил, в чем-то немного провинциален.

Может быть, и Чехов, приехавший в Москву из Таганрога, мог показаться провинциалом.

Впоследствии, когда синеглазый прославился и на некоторое время разбогател, наши предположения насчет его провинциализма подтвердились: он надел галстук бабочкой, цветной жилет, ботинки на пуговицах, с прюнелевым верхом, и даже, что показалось совершенно невероятным, в один прекрасный день вставил в глаз монокль, развелся со старой женой, изменил круг знакомых и женился на некой Белосельской-Белозерской, прозванной ядовитыми авторами «Двенадцати стульев» «княгиней Белорусско-Балтийской».

Синеглазый называл ее весьма великосветски на английский лад Напси [10; 219–220].

Софья Станиславовна Пилявская:

Холодный, даже немного чопорный с чужими и такой открытый, насмешливо веселый и пристально внимательный к друзьям или просто знакомым [5; 259].

Татьяна Николаевна Кисельгоф. Из беседы с Л. Паришиным:

Знакомых у него полно было. С кем только он не знакомился! [12; 98]

Елена Сергеевна Булгакова:

Это был человек, который, когда появлялся где-нибудь, то очень скромно. Он никогда не претендовал на первое место, но невольно так получалось благодаря его остроумию, благодаря необычайной жизненной силе, бурлящей в нем [5; 384].

Евгений Васильевич Калужский:

Булгаков любил, когда приходили к нему домой. У него были старые, испытанные друзья, которым он отвечал самой верной и крепкой дружбой.

Случалось заставить Михаила Афанасьевича в халате, когда он вставал после обязательного послеобеденного сна. Извинившись всякий раз за свой вид, он обязательно уходил одеться, хотя бы в этот вечер никто не ожидался [5; 252].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

Он значительно легче и свободней чувствовал себя в беседе с женщинами [4; 116].

Екатерина Михайловна Шереметьева:

Мне напоминало отца рыцарски-заботливое отношение Булгакова к женщине. Смешно говорить, что Михаил Афанасьевич не мог сидеть в трамвае, если рядом стояла женщина; оберегая свою спутницу, он не мог причинить неудобство другим женщинам, внимание, помощь, если она была нужна и уместна, он оказывал легко, естественно [5; 369].

Евгений Васильевич Калужский:

Вспоминается, как он доставал папиросу, брал спички, закуривал и вкусно затягивался. Взгляд его становился весело-лукавым. Это значило, что сейчас возникнет новая интересная тема или начнется новая блестящая импровизация [5; 245].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

У нас всюду было печное отопление, и М. А. иногда сам топил печку в своем кабинете; помешивая, любил смотреть на подернутые золотом угли, но всегда боялся угара [4; 154].

Владимир Яковлевич Лакшин (1933–1993), литературный критик. Со слов Е. С. Булгаковой:

Деньги же у Михаила Афанасьевича не держались [5; 415].

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с М. Чудаковой:*

Он всегда подавал нищим, вообще совсем не был скупым, деньги никогда не прятал, приносил – тут же все отдавал; правда, потом сам же и забирал... [5; 112]

Екатерина Михайловна Шереметьева:

У него были ловкие руки, точный глазомер, мгновенная реакция на неожиданность, изобретательность – все, что он делал, выходило естественно, изящно, все, что он делал, до мелочей, было талантливо [5; 370].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

Мы часто опаздывали и всегда торопились. Иногда бежали за транспортом. Но Михаил Афанасьевич неизменно приговаривал: «Главное – не терять достоинства» [4; 174].

Творчество

Виталий Яковлевич Виленкин:

Главное, что меня в нем поражало, это неугасимая внутренняя готовность к творчеству. Казалось, что если не сегодня, то завтра он непременно начнет писать, и было ясно, что в голове его зреет множество замыслов [5; 294].

Арон Исаевич Эрлих:

Он сидит за столом сразу при входе справа. Вот он раскрыл папку, – обыкновенную картонную папку с надписью «М. Булгакову», – в ней свежие, только сегодня доставленные почтой, рабкоровские корреспонденции. Вот он подогнул под себя на стуле левую ногу, осел на нее всей тяжестью корпуса, – значит, сейчас будет готовить подборку заметок в очередной номер газеты: мы уже знаем – Михаил Афанасьевич пишет не иначе, как сидя на собственной левой ноге [16; 67].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

Писал Михаил Афанасьевич быстро, как-то залпом. Вот что он сам рассказывает по этому поводу: «...сочинение фельетона строк в семьдесят пять – сто отнимало у меня, включая сюда и курение и посвистывание, от восемнадцати до двадцати минут. Переписка его на машинке, включая сюда и хихиканье с машинисткой, – восемь минут. Словом, в полчаса все заканчивалось» [4; 95].

Константин Георгиевич Паустовский (1892–1968), писатель, соученик Булгакова по киевской Александровской гимназии:

Легкость работы Булгакова поражала всех. Это та же легкость, с какой юный Чехов мог написать рассказ о любой вещи, на которой остановился его взгляд, – чернильнице, вихрастом мальчишке, разбитой бутылке. Это – брызжащий через край поток воображения.

Так легко и беззаботно работал Булгаков в «Гудке» в те знаменитые времена, когда там подвизалась на «четвертой полосе» компания насмешливых юношей во главе с Ильфом и Петровым. <...>

В то время Булгаков часто заходит к нам, в соседнюю с «Гудком» редакцию морской и речной газеты «На вахте». Ему давали письмо какого-нибудь начальника пристани или кочегара. Булгаков проглядывал письмо, глаза его загорались веселым огнем, он садился около машинистки и за 10–15 минут надиктовывал такой фельетон, что редактор только хватался за голову, а сотрудники падали на столы от хохота [5; 102].

Ирина Сергеевна Раабен (фон Раабен, урожд. Каменская), в 1920-е годы – машинистка, работавшая с Булгаковым над «Записками на манжетах» и романом «Белая гвардия»:

Первое, что мы стали с ним печатать, были «Записки на манжетах». Он приходил каждый вечер, часов в 7–8, и диктовал по два-три часа и, мне кажется, отчасти импровизировал. У него в руках были, как я помню, записные книжки, отдельные листочки, но никакой рукописи как таковой не было. Рукописи, могу точно сказать, не оставлял никогда. Писала я только под диктовку [5; 128].

Татьяна Николаевна Кисельгоф. Из беседы с М. Чудаковой:

Когда он обычно работал? В земстве писал ночами... в Киеве писал вечерами, после приема. Во Владикавказе после возвратного тифа сказал: «С медициной покончено». Там ему удавалось писать днем, а в Москве уже стал все время писать ночами [5; 120–121].

Август Ефимович Явич:

Булгаков жил в удлиненной комнате с одним окном, к которому вплотную был придвинут письменный стол, совершенно пустынный, – ни карандаша, ни листка бумаги, ни книжки, словом, никаких признаков писательского труда. Похоже, все складывалось в ящики стола, как только прекращалась работа, и для посторонних любопытных глаз ничего не оставлялось. Да и работал он в ту пору по ночам [5; 158].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

Идет 1927 год. Подвернув под себя ногу калачиком (по семейной привычке: так любит сидеть тоже и сестра М. А. Надежда), зажегши свечи, пишет чаще всего Булгаков по ночам [4; 130].

Елена Сергеевна Булгакова. В записи В. Я. Лакишина:

Я в молодости, познакомившись с Булгаковым, когда его страшно ругали за «Белую гвардию», «Турбиных», сказала ему: «Ну что вам стоит написать пьесу о Красной Армии». Он посмотрел на меня страшными глазами и сказал с обидой: «Как вы не понимаете, я очень хотел бы написать такую пьесу. Но я не могу писать о том, чего не знаю» [5; 413].

Михаил Афанасьевич Булгаков. Из допроса ОГПУ. Собственноручное признание. 22 сентября 1926 г.:

На крестьянские темы я писать не могу потому, что деревню не люблю. Она мне представляется гораздо более кулацкой, нежели это принято думать.

Из рабочего быта мне писать трудно, я быт рабочих представляю себе хотя и гораздо лучше, нежели крестьянский, но все-таки знаю его не очень хорошо. Да и интересуюсь я им мало, и вот по какой причине: я занят, я остро интересуюсь бытом интеллигенции русской, люблю ее, считаю хотя и слабым, но очень важным слоем в стране. Судьбы ее мне близки, переживания дороги.

Значит, я могу писать только из жизни интеллигенции в Советской стране. Но склад моего ума сатирический. Из-под пера выходят вещи, которые порою, по-видимому, остро задевают общественно-коммунистические круги.

Я всегда пишу по чистой совести и так, как вижу. Отрицательные явления жизни в Советской стране привлекают мое пристальное внимание потому, что в них я инстинктивно вижу большую пищу для себя (я – сатирик) [15; 133].

Елена Сергеевна Булгакова:

Булгаков не мог писать фотографии, точный образ того человека, с которым он был знаком. Но когда он глядел на людей, то он как-то сразу проникал в их сущность и сразу создавал все-таки что-то свое при этом. Дело в том, что у него была такая манера: он любил ходить в рестораны, потому что там было много людей для наблюдения. Он садился и говорил: «Вот посмотри на тот столик. Там сидят четыре человека. Хочешь, я тебе расскажу их отношения между собой, кто они по профессии, о чем они сейчас говорят и что их мучает?» Может быть, он все это импровизировал, выдумывал, но, когда я смотрела на людей, мне казалось, что только так и может быть, настолько убедительны были все его доводы, все доказательства того, что вот это люди именно такой профессии, таких отношений между собой и об этом они сейчас думают или говорят [5; 381–382].

Константин Георгиевич Паустовский:

От общения с Булгаковым оставалось впечатление, что и прозу свою он сначала «проигрывал». Он мог изобразить с необыкновенной выразительностью любого героя своих рассказов и романов. Он их видел, слышал, знал насквозь. Казалось, что он прожил с ними бок о бок всю жизнь. Возможно, что человек у Булгакова возникал сначала из одного какого-нибудь услышанного слова или увиденного жеста, а потом Булгаков «выигрывался» в своего героя, щедро прибавлял ему новые черты, думал за него, разговаривал с ним (иногда буквально – умываясь по утрам или сидя за обеденным столом), вводил его, как живое, но «не имеющее фигуры» лицо в самый обиход своей булгаковской жизни. Герой завладевал Булгаковым всецело. Булгаков перевоплощался в него [5; 99–100].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

1929 год. Пишется пьеса «Мольер» («Кабала святош»). Действует все тот же не убитый или еще не добитый творческий инстинкт. Перевожу с французского биографии Мольера. Помню длинное торжественное стихотворение, где творчество его отождествляется с силами и красотой природы...

М. А. ходит по кабинету, диктует текст, играя попутно то или иное действующее лицо. Это очень увлекательное действо. <...>

Как сейчас вижу некрасивое талантливое лицо Михаила Афанасьевича, когда он немножко в нос декламирует:

Муза, муза моя, о, лукавая Талия...

[4; 177]

Сергей Александрович Ермолинский:

Сочиняя либретто оперы «Минин и Пожарский», он усаживался за рояль и пел арии на какой-то невообразимый собственный мотив. «Луна, луна, за что меня сгубила? – пел он речитатив сына посадского Ильи Пахомова. – Уж я достиг стены, но выдал лунный свет, меня заметили, схватили... Ах, неудачник я!..» Он подгонял текст под ритмическую прозу и сам с собой играл в оперного певца, композитора, изображал оркестр и дирижера. А однажды днем я застал его в халате танцующим посреди комнаты. В доме никого не было, семья была на даче в Загорянке. Он сам открыл дверь и продолжал выделывать па, вскидывая босые ноги и теряя шлепанцы.

– Миша, что с тобой? – остолбенел я.

– Творю либретто для балета. Что-то андерсеновское – «Калоши счастья». Вдохновляюсь. Ничего, брат, не попишешь. Надо – буду балериной. Но... не более.

Константин Георгиевич Паустовский:

Однажды зимой он приехал ко мне в Пушкино. Мы бродили по широким просекам около заколоченных дач. Булгаков останавливался и подолгу рассматривал шапки снега на пнях, заборах, на еловых ветвях. «Мне нужно это, – сказал он, – для моего романа». Он встряхивал ветки и следил, как снег слетает на землю и шуршит, рассыпаясь длинными белыми нитями [5; 103].

Елена Сергеевна Булгакова. Из дневника:

⟨1937⟩

25 июня. <...> М. А. часто уходил к себе в комнату, наблюдал луну в бинокль – для романа. Сейчас – полнолуние [7; 156].

Александр Михайлович Файко. *Из речи на гражданской панихиде 11 марта 1940 г.:*

Он умел работать методично, последовательно и систематично. Этому можно было у него поучиться. Когда он обращался к прошлому – когда писал «Дон Кихота», «Мольера» и «Пушкина», – он изучал материал со скрупулезной точностью. Так, например, изучал он испанский язык, когда работал над «Дон Кихотом», так копался он в архивах, работая по «Пушкину» и «Мольеру». У него была страсть коллекционировать словари. Это был не прихотливый каприз, а он подходил к ним с взыскательной требовательностью ученого [6; 310].

Виталий Яковлевич Виленкин:

Его творческая натура требовала все новых и новых проявлений. Иногда они бывали неожиданными. Елена Сергеевна показала мне как-то толстую клеенчатую тетрадь, в разных местах обрывочно заполненную его характерным крупным с резкими нажимами почерком. Это были наброски отдельных глав учебника по истории СССР, который он начал писать, прочтя в газете объявление о предстоящем конкурсе. Я был поражен свежестью и живостью языка, изяществом стиля, словом, литературным совершенством этих еще черновых исторических фрагментов [5; 295].

Сергей Александрович Ермолинский:

Ему претили словесные штампы, ужасала казенная узость обобщений. Не менее этого его раздражало «новаторство» – намеренная невнятица, гримасы уродливого языка или нарочито грубый натурализм. Игра жаргонными словечками, якобы фиксирующими современный язык, а в особенности откровенная непристойность и словесный цинизм вызывали у него брезгливость [8; 69].

Особенности ума и мышления

Надежда Афанасьевна Земская (урожд. Булгакова; 1893–1974), сестра писателя. Из дневника. 28 декабря 1912 г.:

У Миши есть вера в свою правоту или желание этой веры, а отсюда невозможность или нежелание понять окончательно другого и отнестись терпимо к его мнению. Необузданная сатанинская гордость, развивавшаяся в мыслях все в одном направлении за папиром у себя в углу, за односторонним подбором книг, гордость, поднимаемая сознанием собственной недюжинности, отвращение к обычному строю жизни – мещанскому – и отсюда «права на эгоизм» и вместе рядом такая привязанность к жизненному внешнему комфорту, любовь, сознательная и оправданная самим, к тому, что для меня давно утратило свою силу и перестало интересовать [5; 70–71].

Александр Петрович Гдешинский (1893–1951), музыкант, педагог, друг юности Булгакова. Из письма Н. А. Булгаковой:

Что поражало в нем прежде всего – это острый, как лезвие, ум. Он проникал за внешние покровы мысли и слов и обнаруживал тайники души. (Вот это обнаруживание тайников души вы найдете во многих произведениях Михаила, самых серьезных.) Его прозорливость была необычайна. От него не было тайн. Беспощадный враг пошлости, лицемерия, косности и мещанства, он хотел видеть всех лучшими, чем они есть на самом деле, – эту мысль выразил он мне однажды. Он не только боролся с пошлостью, лицемерием, жадностью и другими человеческими пороками, он хотел сделать людей лучше. Проникая в чужую душу, он безошибочно отделял правду от лжи, уродливое от прекрасного и выносил беспощадный приговор самым страшным оружием – смехом! Но это одна сторона, а с другой стороны – этот блестящий непобедимый юмор, это сверкание обаятельной неповторимой личности [5; 54].

Павел Александрович Марков:

Он был, конечно, очень умен, дьявольски умен и поразительно наблюдателен не только в литературе, но и в жизни. И уж, конечно, его юмор не всегда можно было назвать безобидным – не потому, что Булгаков исходил из желания кого-либо унижить (это было ему противопоказано). Но порою его юмористический талант принимал, так сказать, разоблачительный характер, зачастую вырастая до философского сарказма. Булгаков смотрел в суть человека и зорко подмечал не только внешние его повадки, которые он гиперболизировал в какую-то немыслимую и при этом вполне вероятную характерность, но самое главное – он вникал в психологическую сущность каждого. В самые горькие минуты жизни он не терял дара ей удивляться, и любил удивляться, и, подобно Горькому, восхищался удивительными людскими чертами, и чем более он разгадывал их необычность, тем настойчивее ими увлекался [11; 225–226].

Евгений Васильевич Калужский:

Рассказывал ли он или просто балагурил – все было не только интересным, но и содержательным. Суждения его были метки, наблюдательность поразительна, проницательность изумляющая [5; 245].

Константин Георгиевич Паустовский:

Булгаков был жаден до всего, если можно так выразиться, выпуклого в окружающей жизни.

Все, что выдавалось над ее плоскостью, будь то человек или одно какое-нибудь его свойство, удивительный поступок, непривычная мысль, внезапно замеченная мелочь (вроде согнутых от сквозняка под прямым углом язычков свечей на театральной рампе), – все это он схватывал без всякого усилия и применял и в прозе, и в пьесах, и в обыкновенном разговоре. Может быть, поэтому никто не давал таких едких и «припечатывающих» прозвищ, как Булгаков. Особенно отличался он этим в Первой киевской гимназии, где мы вместе учились.

– Ядовитый имеете глаз и вредный язык, – с сокрушением говорил Булгакову инспектор Бодянский. – Прямо рветесь на скандал, хотя и выросли в почтенном профессорском семействе. Это ж надо придумать! Ученик вверенной нашему директору гимназии обозвал этого самого директора «Маслобоем»! Неприличие какое! И срам! [5; 104]

Надежда Афанасьевна Земская. *Из письма К. Г. Паустовскому:*

Мы любили шутить друг над другом (тон задавал старший брат), а шутки бывали острые и задевающие [5; 59].

Август Ефимович Явич:

Грубо подтрунивать над кем-либо ему не позволяло воспитание, но если он смеялся, то непременно в типизирующих масштабах. Он мог пустить крылатую остроту: «Не в том беда, что ты Визун, а в том беда, что ты лизун», и эта стрела летела гораздо дальше реального, всем нам знакомого Визуна. Про кого-то он сказал: «Этот человек лишен чувства юмора. С ним лучше не связываться. Скажи такому, что ты украл луну, – поверит». Про другого Булгаков заметил: «У него остроумие повисает на длинной ниточке слюны» [5; 157].

Сергей Александрович Ермолинский:

Михаил Афанасьевич любил говорить, что вокруг него нет-нет, да и завертится какая-нибудь эдакая чертовщина. Впрочем, может быть, он был прав, когда говорил, что мир, лишенный тайн, становится плоским и безнадежным? Он хотел, чтобы была тайна. Чтобы было «чудо» [8; 94].

Идейные взгляды и убеждения

Сергей Александрович Ермолинский:

Он не был фрондером! Положение автора, который хлопочет о популярности, снабжая свои произведения якобы смелыми, злободневными намеками, было ему несносно. Он называл это «подкусыванием Советской власти под одеялом». Такому фрондерству он был до брезгливости чужд, но писать торжественные оды или умилительные идиллии категорически отказывался [8; 35].

Михаил Афанасьевич Булгаков. Из протокола допроса ОГПУ. 22 сентября 1926 г.:

Литературным трудом начал заниматься с осени 1919 г. в гор. Владикавказе, при белых. Писал мелкие рассказы и фельетоны в белой прессе. В своих произведениях я проявлял критическое и неприязненное отношение к Советской России. <...> На территории белых я находился с августа 1919 г. по февраль 1919 г. Мои симпатии были всецело на стороне белых, на отступление которых я смотрел с ужасом и недоумением [15; 131].

Татьяна Николаевна Кисельгоф. Из беседы с Л. Паршиным:

Т. К. Он был вообще вне всякой политики. Ни на какие собрания или там сходки не ходил. Но большевиков он не любил, и по убеждениям он был монархист.

Л. П. А как в смысле веры? Насколько я помню, он не был верующим?

Т. К. Нет, он верил. Только не показывал этого.

Л. П. Молился?

Т. К. Нет, никогда не молился, в церковь не ходил, крестика у него не было, но верил. Суеверный был. Самой страшной считал клятву смертью. Считал, что это... за нарушение этой клятвы будет обязательно наказание. Чуть что – «Клянись смертью!» [12; 63]

Михаил Афанасьевич Булгаков. Из дневника:

5 января 1925. Сегодня специально ходил в редакцию «Безбожника». Она помещается в Столешниковом переулке, вернее, в Козмодемьяновском, недалеко от Моссовета. Был с М. С., и он очаровал меня с первых же шагов.

– Что, вам стекла не бьют? – спросил он у первой же барышни, сидящей за столом.

– То есть, как это? (растерянно).

– Нет, не бьют (зловеще).

– Жаль.

Хотел поцеловать его в его еврейский нос. Оказывается, комплекта за 1923 год нет. С гордостью говорят – разошлось. Удалось достать 11 номеров за 1924 год, 12-й еще не вышел. Барышня, если можно так назвать существо, дававшее мне его, неохотно дала мне его, узнав, что я частное лицо.

– Лучше я б его в библиотеку отдала.

Тираж, оказывается, 70 000 и весь расходуется. В редакции сидит невероятная сволочь, входят, приходят; маленькая сцена, какие-то занавесы, декорации. На столе, на сцене, лежит какая-то священная книга, возможно, Библия, над ней склонились какие-то две головы.

– Как в синагоге, – сказал М., выходя со мной. <...>

Когда я бегло проглядел у себя дома вечером номера «Безбожника», был потрясен. Соль не в кощунстве, хотя оно, конечно, безмерно, если говорить о внешней стороне. Соль в идее: ее можно доказать документально – Иисуса Христа изображают в виде негодяя и мошенника, именно его. Нетрудно понять, чья это работа. Этому преступлению нет цены [3; 156–157].

Эмилий Львович Миндлин:

Сам он очень серьезно относился к своему возрасту – не то чтобы годы пугали его, нет, он просто считал, что тридцатилетний возраст обязывает писателя. У него даже была своя теория «жизненной лестницы». Он объяснял ее мне, когда мы шли с ним в зимний день по Тверскому бульвару – он в длиннополой и узкоплечей шубе на теплом меху, я в своей куртке мехом наружу.

У каждого возраста – по этой теории – свой «приз жизни». Эти «призы жизни» распределяются по жизненной лестнице – все растут, приближаясь к вершинной ступени, и от вершины спускаются вниз, постепенно сходя на нет.

Много лет спустя – уже в тридцатые годы – я вспоминал эту булгаковскую теорию. Однажды пришел к нему и вижу: в узком его кабинете на стене над рабочим столом висит старинный лубок. На лубке – «лестница жизни» от рождения и до скончания человека. Правда, человек, сначала восходящий по лестнице, а потом нисходящий по ней, был отнюдь не писатель. Был он, по-видимому, купец – в тридцать лет женатый владелец «собственного торгового дела», в пятьдесят – на вершине лестницы знатный богач, окруженный детьми, в шестьдесят – дед с многочисленными внуками – наследниками его капитала, в восемьдесят – почтенный старец, отошедший от дел, а еще далее «в бозе почивший», в гробу со скрещенными на груди восковыми руками...

Булгакову очень нравился этот лубок. Неважно, что на лубке восхождение и нисхождение жизни купца. Можно ведь этак представить и жизнь писателя: в тридцать лет написал роман, в пятьдесят достиг признания, в шестьдесят много и широко издается... [5; 149–150]

Рубен Николаевич Симонов:

Вспоминаю последнюю встречу с драматургом в 1940 году. Немцы напали на Францию. Михаил Афанасьевич говорил о том, как ужасно то, что немцы напали на Францию, что война перекинется на Советский Союз. <...> Он сказал мне: «Вы знаете, Рубен Николаевич, я, наверное, все-таки пацифист. Я против убийств, насилий, бессмысленной войны» [5; 357–358].

Врач

Надежда Афанасьевна Земская:

Я хочу здесь отметить один факт, на который стоит обратить внимание. У матери в семье было шесть братьев и три девочки. И из шести братьев трое стали врачами. В семье отца один был врачом. После смерти нашего отца, потом, не сразу мать вышла второй раз замуж, и наш отчим был тоже врачом. Поэтому я опровергаю здесь мнение, что Михаил Афанасьевич случайно выбрал эту профессию. Совсем не случайно. Это было как-то в воздухе нашей семьи – и Михаил выбрал свою профессию, свою медицину обдуманно и сознательно. И он любил свою медицину [5; 47].

Елена Андреевна Земская (р. 1926), российский лингвист, доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник отдела современного русского языка Института русского языка РАН им. В. В. Виноградова. Племянница Булгакова:

В жизни Мих. Булгаков был остро наблюдателен, стремителен, находчив и смел, он обладал выдающейся памятью. Эти качества определяют его и как врача, они помогали ему в его врачебной деятельности. Диагнозы он ставил быстро, умел сразу схватить характерные черты заболевания; ошибался в диагнозах редко. Смелость помогала ему решаться на трудные операции [5; 85].

Из удостоверения Сычевской земской управы. 1917 г.:

Выдано настоящее удостоверение Врачу Михаилу Афанасьевичу Булгакову в том, что он с 29#го сентября 1916 года и по 18 сентября сего 1917 года состоял на службе Сычевского земства в должности Врача, заведовавшего Никольской земской больницей, за каковое время зарекомендовал себя энергичным и неутомимым работником на земском поприще. При этом, по имеющимся в Управе сведениям, в Никольском участке за указанное время пользовалось стационарным лечением 211 чел., а всех амбулаторных посещений было 15 361.

Оперативная деятельность врача М. А. Булгакова за время его пребывания в Никольской земской больнице выразилась в следующем: было произведено операций – ампутация бедра 1, отнятие пальцев на ногах 3, выскабливание матки 18, обрезание крайней плоти 4, акушерские щипцы 2, поворот на ножку 3, ручное удаление последа 1, удаление атеромы и липомы 2 и трахеотомий 1; кроме того, производилось: зашивание ран, вскрытие абсцессов и нагноившихся атером, проколы живота (2), вправление вывихов; один раз производилось под хлороформным наркозом удаление осколков раздробленных ребер после огнестрельного ранения [14, кн. 1; 17].

Михаил Афанасьевич Булгаков. Из письма Н. А. Булгаковой-Земской. Вязьма, 3 октября 1917 г.:

Мне на этих днях до зарезу нужно было бы побывать в Москве по своим делам, но я не могу бросить ни на минуту работу и поэтому обращаюсь к тебе с просьбой сделать в Москве кой-что, если тебя не затруднит.

1) Купи, пожалуйста, книгу Клопштока и Коварского «Практическ. руководств. по Клиническ. химии, микроскопии и бактериолог.» (Издан. «Сотрудник») и вышли ее мне.

Узнай, какие есть в Москве самые лучшие издания по кожным и венерическим на русск. или немецк. языках и сообщи мне, не покупай пока, цену и названия. (Нет ли Jessner'a (Руководство по кожна. и венерич.) на немецк. языке?) [2; 388]

Надежда Афанасьевна Земская:

1916 год. Приехав в деревню в качестве врача, Михаил Афанасьевич столкнулся с катастрофическим распространением сифилиса и других венерических болезней (конец войны, фронт валом валил в тыл, в деревню хлынули свои и приезжие солдаты). При общей некультурности быта это принимало катастрофические размеры. Кончая университет, М. А. выбрал специальностью детские болезни (характерно для него), но волей-неволей пришлось обратить внимание на венерологию. М. А. хлопотал об открытии венерологических пунктов в уезде, о принятии профилактических мер. В Киев в 1918 г. он приехал уже венерологом. И там продолжал работу по этой специальности – недолго. В 1919 г. совершенно оставил медицину для литературы [5; 87].

Сергей Александрович Ермолинский:

Когда я заболел, он спешил ко мне: любил лечить. Болезни у меня по тем молодым годам были несложные – простуда, бронхит. Тем не менее у него был вид строгий, озабоченный, в руках чемоданчик, из которого он извлекал спиртовку, градусник, банки. Затем усаживал меня, поворачивал спиной, выстукивал согнутым пальцем, заставляя раскрыть рот и сказать «а», затем ставил градусник, аккуратно протерев его спиртом, и говорил:

– Имей в виду, самая подлая болезнь – почки. Она подкрадывается как вор. Исподтишка, не подавая никаких болевых сигналов. Именно так чаще всего. Поэтому, если бы я был начальником всех милиций, я бы заменил паспорта предъявлением анализа мочи, лишь на основании коего и ставил бы штамп о прописке.

Градусник показывал 37, встряхивался, и мой лекарь приступал к банкам. Он подсовывал под банку вспыхнувшую наспиртованную вату, накрученную на палочку, часто обжигал меня и тут же назидательно утешал:

– Но зато посмотри, какие банки! Чувствуешь? Завтра будешь здоров!

Я считал его очень мнительным. Он любил аптеки. До сих пор на Кропоткинской стоит аптека, в которую он часто хаживал. Поднявшись на второй этаж, отворив провинциально звякающую дверь, он входил туда, и его встречали как хорошо знакомого посетителя. Он закупал лекарства обстоятельно, вдумчиво. Любил это занятие [8; 83–84].

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Заявление в Военный комиссариат. 10 октября 1932 г.:*

Ввиду того, что окончив давно, в 1916 году, медицинский факультет и бросив вследствие полного отвращения в 1919 году занятие медициной (13 лет тому назад), я совершенно утратил какие бы то ни было познания по медицине, а стал в течение этих 13 лет квалифицированным драматургом, произведения которого исполняются в СССР и за границей, а в последнее время, кроме того, и режиссером; я прошу освободить меня от какого бы то ни было отношения к врачебному званию [14, кн. 3; 164].

Книгочей

Надежда Афанасьевна Земская:

Читатель он был страстный, с младенческих же лет. Читал очень много, и при его совершенно исключительной памяти он многое помнил из прочитанного и все впитывал в себя. Это становилось его жизненным опытом – то, что он читал. И, например, сестра старшая Вера (вторая после Михаила) рассказывает, что он прочитал «Собор Парижской Богоматери» чуть ли не в 8–9 лет и от него «Собор Парижской Богоматери» попал в руки Веры Афанасьевны.

Родители, между прочим, как-то умело нас воспитывали, нас не смущали: «Ах, что ты читаешь? Ах, что ты взял?» У нас были разные книги. И классики русской литературы, которых мы жадно читали. Были детские книги. Из них я и сейчас помню целыми страницами детские стихи. И была иностранная литература. И вот эта свобода, которую нам давали родители, тоже способствовала нашему развитию, она не повлияла на нас плохо.

Мы со вкусом выбирали книги [5; 47–49].

Надежда Афанасьевна Земская. Из письма К. Г. Паустовскому:

Любимым писателем Михаила Афанасьевича был Гоголь. И Салтыков-Щедрин. А из западных – Диккенс. Чехов читался и перечитывался, непрестанно цитировался, его одноактные пьесы мы ставили неоднократно. Михаил Афанасьевич поразил нас блестящим, совершенно зрелым исполнением роли Хирина (бухгалтера) в «Юбилее» Чехова.

Читали Горького, Леонида Андреева, Куприна, Бунина, сборники «Знания». Достоевского мы читали все, даже бабушка, приезжавшая из Карачева (город под Брянском) к нам в Бучу погостить летом.

Читали мы западных классиков и новую тогда западную литературу: Мопассана, Метерлинка, Ибсена и Кнута Гамсуна, Оскара Уайльда.

Читали декадентов и символистов, спорили о них и декламировали пародии Соловьева: «Пусть в небесах горят паникадила – В могиле тьма». Спорили о политике, о женском вопросе и женском образовании, об английских суфражистках, об украинском вопросе, о Балканах; о науке и религии, о философии, непротивлении злу и сверхчеловеке; читали Ницше [5; 57–58].

Татьяна Николаевна Кисельгоф. Из беседы с Л. Паршиным:

Т. К. Михаил, между прочим, таскал книги. У Коморского спер несколько. Я говорю: – Зачем зажил?

– Я договорился.

– Я спрошу.

– Только попробуй!

И в букинистических покупал ходил [12; 100].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

И книги: собрания русских классиков – Пушкин, Лермонтов, Некрасов, обожаемый Гоголь, Лев Толстой, Алексей Константинович Толстой, Достоевский, Салтыков-Щедрин, Тургенев, Лесков, Гончаров, Чехов. Были, конечно, и другие русские писатели, но просто сейчас не припомню всех. Две энциклопедии – Брокгауза – Эфрона и Большая Советская под редакцией О. Ю. Шмидта, первый том которой вышел в 1926 году, а восьмой, где так небрежно написано о творчестве М. А. Булгакова и так неправдиво освещена его биография, – в 1927 году.

Книги – его слабость. На одной из полок – предупреждение: «Просьба книг не брать»... Мольер, Анатоль Франс, Золя, Стендаль, Гете, Шиллер... Несколько комплектов «Исторического Вестника» разной датировки. На нижних полках – журналы, газетные вырезки, альбомы с многочисленными ругательными отзывами, Библия [4; 138–139].

Виталий Яковлевич Виленкин:

Меня поразило обилие всевозможных толковых и фразеологических словарей на нескольких иностранных языках, справочников, кулинарных книг, гороскопов, толкователей снов – сонников, разных альманахов и путеводителей по городам и странам.

Много было книг не только классиков, но и писателей как бы второго ряда – Вельтмана, Полевого, Нарезного, их редко встретишь в писательских библиотеках. А вот сугубо научных книг было крайне мало [5; 286–287].

Сергей Александрович Ермолинский:

До страсти любил рыться в старых журналах, особенно исторических, архивных. Собирал словари, лексиконы, справочники. Считал, что их должно быть как можно больше, по всем вопросам, всегда под рукой, без них литератору нельзя [8; 69].

Елена Сергеевна Булгакова:

Отец его, Афанасий Иванович, был профессор богословия Киевской Академии, великолепно знавший языки. Он научил Михаила Афанасьевича с детства латыни и греческому, что помогало Михаилу Афанасьевичу в дальнейшем легко овладевать языками. Так, когда он писал «Дон Кихота», то взялся за испанский язык, для того чтобы самому читать и переводить интересные места в точности, по-своему.

Когда он кончил заниматься испанским, он взялся за итальянский. Английским он владел, во всяком случае, настолько, что мог читать; говорил он слабо, а читал и понимал все. И он хотел делать «Шекспириану» в 1936 году. Если бы он не ушел из Художественного театра после снятия «Мольера», он сделал бы свой перевод... [5; 382]

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

«...» Жадного тяготения к поэзии у М. А. не было, хотя он прекрасно понимал, что хорошо, а что плохо, и сам мог при случае прибегнуть к стихотворной форме [4; 113].

Театрал и меломан

Константин Георгиевич Паустовский:

Гимназисты могли ходить в театры только с письменного разрешения инспектора. На неизвестные ему пьесы инспектор – историк Бодянский – нас не пускал. Не пускал он нас и на те пьесы, которые ему не нравились. Вообще он считал театр «ветрогонством» и, упоминая о нем, употреблял пренебрежительное выражение: «фигли-мигли».

Мы подделывали разрешения, подписывали их за Бодянского, иногда даже переодевались в штатское, чтобы не попасться Шпоньке, уныло бродившему по коридорам театра в поисках неисправимых театралов – «воспитанников нашей славной гимназии» (так Шпонька именовал гимназистов).

Однажды Шпонька поймал в Соловцовском театре несколько гимназистов в штатском, в том числе и Булгакова. Шпонька подал инспектору рапорт об этом событии, причем выразился, что гимназисты были «в бесформенном состоянии». Последовали, конечно, неприятности и длинные инспекторские сентенции на тему о том, что «наши пращурь, слава тебе господи, о театре и не подозревали, однако выгнали из русской земли татар».

В те времена в Соловцовском театре играли такие актеры, как Кузнецов, Полевицкая, Радин, Юренева. Репертуар был разнообразным – от «Горя от ума» до «Ревности» Арцыбашева и от «Дворянского гнезда» до «Мадам Сан-Жен». После тяжелых драм обязательно шел водевиль, чтобы рассеять у зрителей тяжелое настроение. В антрактах играл оркестр.

Я встречал Булгакова в Соловцовском театре. Зрительный зал был затянут сероватой дымкой. Сквозь нее поблескивали золоченые орнаменты и синел бархат кресел. Дымка эта была обыкновенной театральной пылью, но нам она казалась какой-то таинственной сверкающей эманацией волшебного театрального искусства.

Самый воздух театра действовал на нас опьяняюще, хотя мы и знали, что в театре пахнет духами, клейстером, краской и апельсинами, – в то время было принято во время спектакля сосать апельсины (конечно, не на галерке, где мы сидели, а в ложах бенуара и бельэтажа). Кончался девятнадцатый век и начинался двадцатый. Но в театре сохранилось многое от старины, начиная от самого здания с его сводами, от низких галерей и кончая занавесом с золотыми лирами. На занавесе была изображена пышная богиня изобилия. Она сыпала из рога гирлянды роз [5; 96–98].

Татьяна Николаевна Кисельгоф. Из беседы с М. Чудаковой:

[В Киеве в 1913] мы ходили в Купеческий сад на каждый симфонический концерт. Он очень любил увертюру к «Руслану и Людмиле», к «Аиде» – напевал: «Милая Аида... Рая создание...» Больше всего любил «Фауста» и чаще всего пел «На земле весь род людской» и арию Валентина – «Я за сестру тебя молю...». Вот это у меня как-то осталось в памяти. В Саратове отец любил, когда я играла; ложился на диван, слушал. Я играла увертюру к «Евгению Онегину», к «Кармен». Булгаков не учился музыке, но умел наигрывать. Он играл Вторую рапсодию Листа – не всю, но кусками... Любил Вагнера – «Полет Валькирий», из «Тангейзера». В Киеве слушали «Кармен», «Гугенотов» Мейербергера, «Севильского цирюльника» с итальянцами... Кажется, у него была даже фотография Баттистини с его надписью... [5; 111]

Надежда Афанасьевна Земская:

Михаил, который умел увлекаться, видел «Фауст», свою любимую оперу, 41 раз – гимназистом и студентом. Это точно. Он приносил билетки и накалывал, а потом сестра Вера, она любила дотошность, сосчитала... Михаил любил разные оперы, я не буду их

перечислять. <...> В Москве, будучи признанным писателем, они с художником Черемных Михаил Михалычем устраивали концерты. Они пели «Севильского цирюльника» от увертюры до последних слов. Все мужские арии пели, а Михаил Афанасьевич дирижировал. И увертюра исполнялась. Вот не знаю, как с Розиной было дело. Розину, мне кажется, не исполняли, но остальное все звучало в доме [5; 53].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

У нас существовала своя терминология. О спектаклях парадных, когда все стараются сделать их занимательными, красочными, много шумят и суетятся, но зрелище остается где-то в основе своей скучноватым, мы говорили «скучно-весело» (Лопе де Вега, иногда Шекспир).

Когда наталкивались на что-нибудь безнадежно устаревшее, старомодное да и комичное к тому же, М. А. называл это «вальс с фигурами». И вот почему. Однажды один начинающий драматург попросил Булгакова прочесть свою пьесу у тех же Ляминых. Было удивительно, что в современной пьесе, когда по всей Европе гремела джазовая музыка, все танцевали уан- и тустеп, герои начинающего драматурга танцевали «вальс с фигурами»...

Но вот к чему М. А. никогда не испытывал тяготения, так это к кино, хотя и написал несколько сценариев за свою жизнь. Иногда озорства ради он притворялся, что на сеансах ничего не понимает. Помню, мы были как-то в кино. Программы тогда были длинные, насыщенные: видовая, художественная, хроника. И в небольшой перерыв он с ангельским видом допытывал: кто кому дал по морде? Положительный отрицательному или отрицательный положительному?

Я сказала:

– Ну тебя, Мака!

И тут две добрые тети напали на меня:

– Если вы его, гражданка, привели в кинематограф (они так старомодно и выразились), то надо все же объяснить человеку, раз он не понимает.

Не могла же я рассказать им, что он знаменитый «притворяшка».

Две оперы как бы сопровождают творчество Михаила Афанасьевича Булгакова – «Фауст» и «Аида». Он остается верен им на протяжении всех своих зрелых лет. В первой части романа «Белая гвардия» несколько раз упоминается «Фауст». И «разноцветный рыжебородой Валентин поет: „Я за сестру тебя молю...“»

Писатель называет эту оперу «вечный „Фауст“» и далее говорит, что «Фауст» «совершенно бессмертен». <...> Музыка вкраплена там и тут в произведения Булгакова, но «Аида» упоминается, пожалуй, чаще всего [4; 188–189].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

Ездили мы на концерты: слушали пианистов-виртуозов – немца Эгона Петри и итальянца Карло Цекки. Невольно на память приходят слова М. А.: «Для меня особенно ценна та музыка, которая помогает мне думать».

Несколько раз были в Персимфансе (поясню для тех, кто не знает, что это такое: симфонический оркестр без дирижера).

Как-то, будучи в артистическом «Кружке» на Пименовском переулке – там мы бывали довольно часто, – нам пришлось сидеть за одним столиком с каким-то бледным, учтивым, интеллигентного вида человеком. М. А. с ним раскланялся. Нас познакомили. Это оказался скрипач Лев Моисеевич Цетлин – первая скрипка Персимфанса.

– Вот моя жена всегда волнуется, когда слушает Персимфанс, – сказал М. А.

Музыкант улыбнулся:

– А разве страшно?

– Мне все кажется, что в оркестре не заметят ваших знаков и вовремя не вступят, – сказала я.

– А очень заметны мои «знаки», как вы говорите?

– Нет, не очень. Потому-то я и волнуюсь...

М. А. нравилась игра молодого пианиста Петунина. Я помню, как мы здесь же, в «Кружке», ходили в комнату, где стоял рояль, и симпатичный юноша в сером костюме играл какие-то джазовые мелодии, и играл прекрасно.

Были у нас знакомые, где любили помузицировать: Михаил Михайлович Черемных и его жена Нина Александровна. Пара примечательная: дружная, уютная, хлебосольная. Отношение Булгакова к Черемныху было двойственное: он совершенно не разделял увлечения художника антирелигиозной пропагандой (считал это примитивом) и очень симпатизировал ему лично.

К инструменту садилась Нина Александровна. Тут наступало торжество «Севильского цирюльника».

Скоро восток золотою,
Румяною вспыхнет зарею –

пели мужчины дуэтом, умильно поглядывая друг на друга. Им обоим пение доставляло удовольствие, нравилось оно и нам: Нине Александровне, сестре ее Наталии Александровне (красавице из красавиц) и мне.

Тут уместно упомянуть о том, что в юности М. А. мечтал стать певцом. На письменном столе его в молодые годы стояла карточка артиста-баса Сибирякова с надписью: «Иногда мечты сбываются»... [4; 190–191].

Актерский талант

Елена Андреевна Земская:

Увлечение театром было одно из главных в жизни семьи и Миши – гимназиста и студента. Об этом свидетельствуют прежде всего любительские спектакли, в которых принимали участие все молодые Булгаковы. Спектакли ставились чаще летом, в Буче. Первая пьеса, в которой играл Миша, – детская сказка «Царевна Горошина» (текст ее сохранился). В ней 12-летний Миша играл лешего и атамана разбойников. Это был благотворительный спектакль для богаделок, как вспоминает сестра Вера. Гимназистом Михаил Аф. играл во многих спектаклях. Он исполнял роли: Лешего – в семейном спектакле; мичмана Деревеева (жениха) в водевиле «По бабушкиному завещанию», который ставился летом 1909 г. в Буче на даче Лерхе (друзей семьи), роль невесты играла сестра Надя; Хирина в «Юбилее» Чехова; жениха в «Предложении» Чехова.

5 июля 1909 г. в Буче была поставлена фантазия «Спиритический сеанс» (с подзаголовком «Нервных просят не смотреть»). По словам Н. А., это был балет в стихах, словом, что-то вроде эстрады; автор стихов – друг семьи Е. А. Поппер. Эта фантазия была целиком сочинена, оформлена и поставлена группой молодежи на даче Семенцовых; М. А. был одним из постановщиков и исполнял роль спирита, вызывавшего духов.

Студентом М. А. участвовал в любительских платных спектаклях, которые ставились в дачном поселке Буча летом 1910 г., под фамилией Агарина. Он исполнял роли: начальника станции – в комедии «На рельсах», дядюшки молодоженов в комедии Григорьева «Разлука та же наука», Арлекина – в одноактной пьесе «Коломбина» («роль первого любовника – не его амплуа», – замечает впоследствии Н. А.) [5; 61–62].

И. С. Овчинников:

Начало двадцатых годов...

Мы с Булгаковым работаем в «Гудке». Я заведу бытовую «четвертой полосой», он литературный сотрудник профсоюзного отдела. Сидит Булгаков в соседней комнате, но свой тулупчик он почему-то каждое утро приносит на нашу вешалку. <...>

Вечером Михаил Афанасьевич опять появляется в нашей комнате – взять тулупчик. Ну, а раз зашел – сейчас же бесконечные споры и разговоры, а при случае – даже легкая эстрадная импровизация, какая-нибудь наша злободневная небылица в лицах. И главный заводила и исполнитель, как всегда, Булгаков.

Ага, вот и он! Переступил порог – и сейчас же начинается лицедейство. В булгаковском варианте разыгрывается пародийный скетч «Смерть чиновника».

Тема и интонация целиком чеховские:

– Не мой начальник, чужой, но все равно неловко. Опоздал, задержал. Надо извиниться!..

Без всяких вступлений импровизируется сцена извинения. Тулупчик переброшен через левый локоть. Правая рука у сердца. Корпус в полупоклоне. Так, не разгибаясь, расшаркиваясь то левой, то правой, Булгаков отступает задом до самой двери.

Но вот он остановился и выпрямился. Дернул головой снизу вверх, как бы сбрасывая с себя чужую личину, которую только что донес до этого места.

Секунду мы смотрим друг на друга и начинаем оба хохотать.

– А ведь здорово это получилось у Антона Павловича! – сдерживая смех, говорит Булгаков.

– Оно и у Михаила Афанасьевича неплохо выходит! – отвечаю я ему в тон.

Мы снова начинаем дружно хохотать и так со смехом и вываливаемся в коридор.

Варьируясь в деталях, подобные встречи у нас с Михаилом Афанасьевичем бывали чуть не ежедневно. Взять тулупчик и молча шмыгнуть из комнаты он считал неприличным. Поэтому по пути от вешалки к двери он всегда успевал что-нибудь рассказать. Рассказы эти назывались у нас квартплатой за вешалку...

Монахи, служители Будды, показывают замечательный мимический номер – «Танец шестнадцати настроений». Никто не считал, сколько и какие настроения может сценически выразить Булгаков, но, прирожденный мим, свои комедийные личины он меняет с необычайной легкостью... [5; 131–132]

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

Читал М. А. блестяще: выразительно, но без актерской аффектации, к смешным местам подводил слушателей без нажима, почти серьезно – только глаза смеялись... [4; 111]

Виталий Яковлевич Виленкин:

Читал он изумительно: предельно строго, ненавязчиво, никого из персонажей не играя, но с какой-то невероятной, непрерывной напряженностью всех внутренних линий действия. Читая, он мог не повторять имен своих персонажей: они мгновенно узнавались, становились видимыми и совершенно живыми благодаря тончайшим сменам интонации и внутреннего ритма. Удивительно читал ремарки. <...> Он читал свои ремарки без всякой «подачи», они у него звучали как бы мимолетно, но были накрепко связаны либо с предшествующей, либо с последующей репликой [5; 292–293].

Юрий Петрович Полтавцев:

Читал медленно, тихо, необычайно выразительно, ярко, зримо. Впечатление было, как будто читают несколько человек, – столько разных характеров, голосов. Булгаков жил в каждом образе, в каждой фразе [5; 329].

Софья Станиславовна Пилявская:

Как же он умел читать! Как раскрывал каждый образ, как доносил его суть, его тайные мысли. Слушая его, казалось, что никто из актеров, самых замечательных, не сыграет так. Казалось, что только он, и никто другой, должен играть эту роль, – и так было в каждой сцене, с каждой ролью [5; 260].

Константин Сергеевич Станиславский (1863–1938), режиссер, актер, педагог, реформатор театра. Из письма. 1930 г.:

Вот из кого может выйти режиссер. Он не только литератор, но и актер. Сужу по тому, как он показывал на репетициях «Турбиных». Собственно – он поставил их, по крайней мере, дал те блески, которые сверкали и создавали успех театра... [5; 254–255]

Павел Александрович Марков:

Не только потенциально, а фактически, на самом деле Булгаков был сам великолепным актером. Может быть, именно это качество и определяет вообще подлинную сущность драматурга, ибо любой драматург, разумеется, хороший, в душе неизбежно является актером. Недаром в тяжелые периоды своей жизни он рвался к актерству в Художественном театре. Когда его пьесы не ставились, он сам стал актером МХАТ и играл в «Пиквикском клубе», играл с удовольствием, со вкусом, наслаждаясь пребыванием на сцене. Но парадоксально: его актерская и авторская жадность не могла удовлетвориться одной ролью в пьесе – ему нужен был не один характер, а много характеров, не один образ, а много образов. Если бы его попросили сыграть сочиненную им пьесу, он сыграл бы ее всю, роль за ролью, и сделал бы

это с полным совершенством. Так, в «Днях Турбиных» он показал на репетиции почти все образы, охотно и щедро помогая актерам [11; 226].

Вадим Васильевич Шверубович (1901–1981), театральный деятель, педагог. Один из основателей театра «Современник». Мемуарист. Сын В. И. Качалова:

В. Я. Станицын рассказывает, что Михаил Афанасьевич обратился к нему, тогда молодому режиссеру, ставившему инсценировку Н. А. Венкстерн «Пиквикский клуб», с просьбой дать ему какую-нибудь актерскую работу, чтобы, как он сказал, «побыть в актерской шкуре». Ему, мол, драматургу, необходимо проникнуться самочувствием актера, надо самому на себе проверить ощущение себя в образе, побыть кем-то другим, проработать артикуляцию, дыхание, проверить текст, прослушать звучание фразы, произносимой своим голосом... Порепетировать, поискать, пострадать вместе с актерами и с режиссерами... Прочувствовать себя в этой среде не сбоку, не сверху, не рядом даже, а снизу. Побывать маленьким, «вторым», «третьим» актером, исполнителем эпизодической роли, чтобы оценить значение одной реплики, очерчивающей в эпизоде образ всей роли.

Полагая, что драматург должен быть способен лепить произведение и из этих ролей-реплик, образов, эпизодов, а не только из монологов и диалогов на пол-акта, он считал, что ему нужно, необходимо изменить и масштаб, и перспективу, и точку зрения, вернее, точку восприятия. Ведь и большие, главные роли в конечном счете состояются из реплик-моментов, как организм из клеток. Вот для нахождения этой новой точки восприятия ему и надо было внедриться в самую плоть, самую сущность спектакля... <...>

Интерес же ко всему сценическому у него был горячий, напряженный. Его интересовала и техника постройки оформления, и краска, и живопись, и технология перестановок, и освещение. Он с радостным и веселым любопытством всматривался во все, с удовольствием внюхивался в театральные ароматы – клея, лака, красок, обгорающего железа электроаппаратуры, сосновой воды и доносящихся из артистических уборных запахов грима, гуммозы, вазелина и репейного масла... Его привлекали термины и сценические словечки, он повторял про себя, запоминая (записывать, видимо, стеснялся): «послабь», «натужь», «заворотная», «штропка», «место!» и т. д. Его радовала возможность ходить по сцене, касаться изнанки декораций, откосов, штативов фонарей, шумовых аппаратов – того, что из зала не видно. Восхищало пребывание на сцене не гостем, а участником общей работы... Как-то стоявшая довольно далеко от него высокая декорационная стенка накренилась и начала валиться. Он стремительно бросился к ней, подхватил и удержал от падения раньше, чем это успел сделать кто-нибудь из нас. Ее уже закрепили, но он все продолжал держать ее, и лицо его сияло от удовольствия.

Михаил Афанасьевич рано приходил на репетиции и с настороженным любопытством всматривался в установленное оформление. Его явно огорчал безобразный вид старых декораций, из которых были выгорожены нужные для репетиции параметры, но задать уже многократно высмеянный во всех театрах вопрос: «А это так и будет?» – стеснялся. Зато, когда, войдя в зал, он видел на сцене уже «свою», то есть изготовленную для репетируемой пьесы часть декорации, мебели, бутафории, – радовался ей, иногда со сконфуженным смешком сознавался, что начинал уже волноваться, что мы собираемся «замотать» этот предмет. Возможность воспользоваться этим профессиональным «термином» тоже доставляла ему удовольствие; он, видно, незадолго до этого узнал, что «замотать» означает на жаргоне работников Постановочной части затянуть изготовление какой-нибудь детали до тех пор, пока режиссер и художник не примирятся с ее отсутствием, так как настаивать на ее изготовлении уже поздно. С таким же, а может быть, и с гораздо большим удовольствием он примерял свой театральный костюм; когда он смотрел на себя в зеркало, было ясно, что он видит перед собой уже не себя, Булгакова, а диккенсовского Судью. <...> На репетициях Михаил

Афанасьевич, чтобы не лишать себя возможности смотреть предыдущие картины, не прятался заранее за кафедрой, а взбегал из зрительного зала на сцену и поднимался по лестнице на наших глазах, чтобы потом «возникнуть». Так вот, из зала на сцену взбегал еще Булгаков, но, идя по сцене, он видоизменялся, и по лестнице лез уже Судья. И Судья этот был пауком. Михаил Афанасьевич придумал (может быть, это был подсказ Виктора Яковлевича Станицына), что Судья – паук. То ли тарантул, то ли крестовик, то ли краб, но что-то из паучьей породы. Таким он и выглядел – голова уходила в плечи, руки и ноги округлялись, глаза делались белыми, неподвижными и злыми, рот кривился. Но почему Судья – паук? Оказывается, неспроста: так его прозвали еще в детстве, что-то в нем было такое, что напоминало людям это страшное и ненавистное всем насекомое, с тех еще пор он не может слышать ни о каких животных, птицах, зверях... Все зоологическое напоминает ему проклятие его прозвища, и поэтому он лишает слова всякого, упоминающего животное. В свое время он от злости, от ненависти к людям выбрал профессию судьи – искал возможности как можно больше навредить людям... <...>

Приятно было видеть, как сам Булгаков радовался тому, как прочно и подробно ощущал он себя в этом образе.

Но как же ясно и весело улыбался он, выходя из этого образа, сбрасывая с себя эту оболочку. Сначала теплели и темнели глаза, потом лицо освещалось улыбкой, менялась осанка, и перед нами был опять он, со всем своим умным, тонким и лукавым обаянием [5; 276–280].

Елена Сергеевна Булгакова. Из дневника:

<1934>

3 ноября. <...> Сегодня я была на генеральной «Пиквика». Должны были быть оба старика. Но у Станиславского поднялась температура, тогда и Немирович не поехал.

Публика принимала реплики М. А. (он судью играет) смехом. Качалов, Кторов, Попова и другие мне говорили, что он играет, как профессиональный актер.

Костюм – красная мантия, белый завитой длинный парик. В антракте после он мне рассказал, что ужасно переволновался – упала табуретка, которую он смахнул, усаживаясь, своей мантией. Ему пришлось начать сцену, вися на локтях, на кафедре. А потом ему помогли – подняли табуретку. <...>

14 ноября.

Репетиция «Пиквика» со Станиславским. Поехали на такси <...>. В час приблизительно приехал Станиславский. За ним в партер вошла Рипси с пледом для К. С. Зал встал и все стали аплодировать.

К. С. очень постарел, похудел. Мне показалось, что он потерял свою жизнерадостность, он как-то равнодушно и кисло принимал приветствия. Стал рядом со Станицыным за режиссерским столом в восьмом ряду. Стол покрыт был зеленой скатертью.

М. А. сидел рядом с К. С.

Говорят, спектакль старику понравился.

Публика тоже хорошо приняла, много аплодировала.

16 ноября.

Станицын сегодня рассказывал М. А., как старик отнесся к его появлению в Суде.

Станицын называл ему всех актеров. Когда появился судья, Станиславский спросил:

– А это кто?

– Булгаков.

– Ага!.. (Вдруг – внезапный поворот к Станицыну.) Какой Булгаков?

– Михаил Афанасьевич. Драматург.

– Автор?!

– Да, автор. Очень просился поработать.

Старик мгновенно сузил глаза, захихикал и стал смотреть на М. А.

Станицын это показывал смешно [7; 77–78].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

⟨1935⟩

2 января. ⟨...⟩ Вечером была за кулисами в филиале, в уборной М. А., смотрела, как его гримировали и одевали, как он выходит на сцену.

В его уборной – клуб, собираются все участники спектакля [7; 85].

Рассказчик

Павел Александрович Марков:

Булгаков был великолепным рассказчиком, смелым, неожиданным [11; 225].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из письма А. С. Нюренбергу. 23 февраля 1961 г.:*

Он никогда не рассказывал анекдотов (ненавижу я, между прочим, и анекдоты и рассказчиков их), – а все смешное, что у него выскакивало, было с пылу с жару, горяченькое! Только что в голову пришло! Или бывало, что какая-нибудь удачная фраза, меткое прозвище так здорово входили в жизнь, что становились ходячими. И не только у нас, но вообще. По Москве ходят и до сих пор ходячие слова его, а также цитаты из пьес. А когда в театре репетировались его пьесы, то актеры говорили этими репликами в жизни. И удивительно они были жизненны и необходимы, иначе не скажешь [7; 328].

Константин Георгиевич Паустовский:

Он рассказывал нам необыкновенные истории. В них действительность так тесно переплеталась с выдумкой, что граница между ними начисто исчезала.

Изобразительная сила этих рассказов была так велика, что не только мы, гимназисты, в конце концов начинали в них верить, но верило в них и искушенное наше начальство. Один из рассказов Булгакова – вымышленная и смехотворная биография нашего гимназического надзирателя по прозвищу Шпонька – дошел до инспектора гимназии. Инспектор, желая восстановить справедливость, занес некоторые факты из булгаковской биографии Шпоньки в послужной список надзирателя. Вскоре после этого Шпонька получил медаль за усердную службу. Мы были уверены, что медаль ему дали именно за эти вымышленные Булгаковым черты биографии Шпоньки.

А рассказывал Булгаков о том, как Шпонька открыл новый способ изготовления нюхательного табака и тем двинул вперед махорочную промышленность. Шпонька действительно нюхал табак и носил в заднем кармане потертого сюртука огромные клетчатые – синие с красным – носовые платки. Как человек стеснительный, Шпонька, нанюхавшись табака, уходил чихать в пустой гимназический зал, чтобы не нарушать во время уроков торжественную тишину коридоров и классов.

Уже тогда в рассказах Булгакова было много жгучего юмора, и даже в его глазах – чуть прищуренных и светлых – сверкало, как нам казалось, некий гоголевский насмешливый огонек.

Булгаков был переполнен шутками, выдумками, мистификациями. Все это шло свободно, легко, возникало по любому поводу. В этом была удивительная щедрость, сила воображения, талант импровизатора [5; 95–96].

Елена Сергеевна Булгакова:

Всегда вокруг него начинались разговоры, споры, а главное, его заставляли рассказывать, потому что он был мастер рассказа. Он создавал тут же какие-то новеллы, при этом блестяще показывал их как актер. Он бегал в соседнюю комнату, тут же переодевался в женщину или мужчину, ему было совершенно все равно... [5; 384]

Евгений Васильевич Калужский:

Беседа обыкновенно завязывалась им легко, непринужденно и никогда не была «назидательной». Часто фантазировал, сочиняя на ходу экспромты, блиставшие меткостью наблюдений, юмором и выдумкой. То фантасмагорический рассказ, в котором участвовали

члены дирекции театра, то рассказ о двух «светских» долдонах, приехавших в гости к теще, живущей в буржуазной стране [5; 252].

Софья Станиславовна Пилявская:

Как-то, встретясь с Еленой Сергеевной и Михаилом Афанасьевичем вечером в Доме актера, Раевский и мы с мужем с радостью приняли предложение ехать к Булгаковым «досиживать вечер». Уже по дороге Михаил Афанасьевич начал жуткий рассказ о тайнах какого-то старого киевского особняка, в котором происходили самые невероятные вещи.

Рассказ был о том, как Михаил Афанасьевич в давние годы искал в Киеве для своего дяди квартиру. Искал долго и наконец нашел – прелестный маленький особнячок, окруженный садом, а в глубине его виднелась сторожка... Все подходило как нельзя лучше, но... Тут-то и начиналось страшное. Дворник был как-то слишком загадочен, и у него была на штанах, на коленке, синяя заплата (эту деталь надо было запомнить точно). Этот дворник вел себя зловеще и намекал на присутствие в доме нечистой силы.

Тем не менее переезд состоялся. В первый же вечер, когда счастливое дядино семейство сидело за ужином, тетка, взглянув случайно в окно, издала истошный вопль и упала без чувств.

Михаил Афанасьевич быстро обернулся – в окне промелькнул человеческий скелет, а за ним чьи-то ноги, синяя заплата на колене... Затем была погоня за скелетом, была лунная ночь, киевские каштаны... погоня привела к сторожке, была борьба... Он рванул дверь... и... «удушливый пар, пар, и в клубах пара Екатерина Великая, еще одна, еще...». Сознание оставило его, он рухнул у порога.

Оказывается, в сторожке был приют фальшивомонетчиков, где печатались тогдашние сотенные «екатеринки», скелет же зловредный дворник брал из соседней анатомички.

Вот маленький образчик буйной фантазии Михаила Афанасьевича. В моем изложении все это выглядит, конечно, не так. Рассказ был так убедителен, так достоверен, что у меня глаза становились квадратными от ужаса, и только потом я поняла, что это была просто шалость неповторимо талантливого человека [5; 260–262].

Сергей Александрович Ермолинский:

Устных рассказов у него было множество и по другим поводам. Они редко повторялись, не становились, как бывает у многих, застольным «репертуаром». Они рождались в ходе беседы, превращались в театральную импровизацию.

Помню, поводом для одной из таких импровизаций был спектакль Камерного театра «Богатыри» по пьесе Демьяна Бедного. В качестве оформителей пригласили художников из Палеха. Они должны были придать «истинно русский», былинный характер постановке, столь неожиданной для такого изысканного, рафинированного театра, как Камерный. Из этой затеи ничего путного не вышло, спектакль подвергли резкой критике.

– Думаю, – говорил Булгаков, – произошла противоестественная смесь из Демьяна Бедного, Таирова и палешан. От души сочувствую ни в чем не повинным мужичкам.

И уж тут невозможно было не переверотить все это в веселую буффонаду, и он стал изображать насмерть перепуганных творцов современного фольклора, как они возвращаются домой, лежа на жестких вагонных полках и подняв к небу свои древние бороды. Его рассказ тут же подхватывали все те же постоянные участники булгаковского застолья – Мелик-Пашаев, главный дирижер Большого театра, и театральные художники Дмитриев и Вильямс. Мелик, изображая сокрушенного палешанина, еще хорохорился: мы-де еще покажем, ни хрена они в Москве не понимают о нашем истинно русском. А Дмитриев совсем поник. У обоих кошки скребут на сердце, слышится грозный голос жены – жену изображает Булгаков: «Не быть добру, коли не сидится в своей лакированной коробочке! Плохо в ней вам

было, так, что ли? Высунулись! Добро бы мальчишки, а то ведь за сорок уже! Срам на всю округу, и денег ни шиша!»

Охваченный тоской и страхом перед грядущим возмездием, Мелик-Пашаев подползает к дверям (кабинета) и робко стучит. «Это я, я, – тоненько, шепотом произносит он, – потерял копеечку», – поет он, как юродивый в «Борисе Годунове». Дверь распахивается – в дверях Булгаков. Хохолок спереди взвит кверху, на голове повязан платок. Взор его столь гневен, что Мелик немеет окончательно.

– Искусству захотел! Я у тебя эту дурь выбью! – замахивается «жена».

Мелик, покорно повернувшись, пригибается и получает хорошую затрещину пониже спины. Тихо стонет.

У Дмитриева отвисла губа, он уже хватил с горя не один шкалик и валяется в канаве (под столом). Приложив к глазу горлышко пустого графина и разглядывая ночные светила (люстру), он вдруг рявкнул непристойную песню: «Ээх, семь бед – один ответ, пропади пропадом коробочка лакированная» – и трахнул крепким русским словом! Вильямс возмущенно поджал губы: «Не выражайся, тут дамы». У Вильямса свой образ – он пытается сохранить надменное достоинство. А Лена время от времени вскрикивает: «Перестаньте! Я умру от смеха!» [8; 75–77]

Виталий Яковлевич Виленкин:

Я и сейчас не мог бы определить, в чем именно заключался этот его особый талант, почему эти новеллы возникали так непринужденно, а били всегда в самую точку, почему они не линяли потом от повторения, почему мы все чуть под стол не валились от хохота, в то время как он сохранял полнейшую серьезность и, казалось, ничего не делал ради комического эффекта. Знаю только, что это были рассказы писательские, а не актерские. Не имитации, не «показывание», не шаржи, а блистательные фейерверки импровизации, отточенность деталей и неожиданная изюминка сюжета, мастерски подготавливавшаяся всевозможными оттяжками и отступлениями. И еще знаю, что пытаться воспроизвести булгаковские застольные рассказы – дело совершенно гиблое, и это не раз уже доказано. Запомнились характерные названия: «Про скелет», «Покойник в поезде», «Разворот у инженера Н. Н.». Импровизировались и сюжеты остролюбодневные, соль которых состояла в том, что лица всем известные представляли вдруг в совершенно неожиданном сатирическом остраниии [5; 287–288].

Шутки, розыгрыши, импровизации

Александр Петрович Гдешинский. *Из письма Н. А. Булгаковой. Киев, 13 октября 1913 г.:*

Миша и Тася недавно были у нас в гостях, я был у них вчера. Пришел, Миши еще не было, зато была Вера; мы весьма уютно посидели втроем, затем пришел Миша; когда поел, то очень подобрел и начал изображать тигра, который залез в купе и бросается на путешественников [5; 78].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

«...» Мы любили прозвища. Как-то М. А. вспомнил детское стихотворение, в котором говорилось, что у хитрой злой орангутанихи было три сына: Мика, Мака и Микуха. И добавил: Мака – это я. Удивительнее всего, что это прозвище – с его же легкой руки – очень быстро прижилось. Уже никто из друзей не называл его иначе, а самый близкий его друг Коля Лямин говорил ласково «Макин». Сам М. А. часто подписывался Мак или Мака. Я тоже иногда буду называть его так [4; 95–96].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

Кому первому пришла в голову мысль устроить спиритический сеанс, сейчас сказать трудно, думаю, что Сереже Топленинову. Во всяком случае М. А. горячо поддержал это предложение. Уселись за круглый стол, положили руки на столешницу, образовав цепь, затем избрали ведущего для общения с духом – Сережу Топленинова. Свет потушили. Наступила темнота и тишина, среди которой раздался торжественный и слегка загробный голос Сережи:

– Дух, если ты здесь, проявись как-нибудь.

Мгновение... Стол задрожал и стал рваться из-под рук. Сережа кое-как его уgomонил, и опять наступила тишина.

– Пусть какой-нибудь предмет пролетит по комнате, если ты здесь, – сказал наш медиум. И через комнату тотчас же в угол полетела, шурша, книга. Атмосфера накалялась. Через минуту раздался крик Вани Никитинского:

– Дайте свет! Он гладил меня по голове! Свет!

– Ай! И меня тоже!

Теперь уж кричал кто-то из женщин:

– Сережа, скажи, чтобы он меня не трогал!

Дух вынул из Жениной прически шпильку и бросил ее на стол. Одну и другую. Вскрикивали то здесь, то тут. Зажгли лампу. Все были взъерошенные и взволнованные. Делились своими ощущениями. Медиум торжествовал: сеанс удался на славу. Все же раздавались скептические возражения, правда, довольно слабые.

Наутро обсуждение продолжалось. Ленка Понсова сказала:

– Это не дача, а черт знает что! Сегодня же стираю (мимическая сцена), завтра глажу (еще одна сцена) и иду по шпалам в Москву (самое смешное представление).

Утром же в коридоре наша «правдолюбка» Леночка Никитинская настигла Петю Васильева и стала его допытывать, не имеет ли он отношения к вчерашнему проявлению духа.

– Что вы, Елена Яковлевна?

Но она настаивала:

– Дайте слово, Петя!

– Даю слово!

– Клянись бабушкой (единственно, кого она знала из семьи Васильевых).

И тут раздался жирный фальшивый Петькин голос:

– Клянусь бабушкой!

Мы с М. А. потом долго, когда подвирали, клялись бабушкой...

Волнение не угасало. Меня вызвала к себе хозяйка дома Лидия Митрофановна и спросила, что же все-таки происходит.

Отвечать мне пока было нечего.

Второй сеанс состоялся с участием вахтанговцев, которые хоть и пожимали плечами, но все же снизошли. Явления повторялись, но вот на стол полетели редиски, которые подавались на ужин. Таким образом проявилась прямая связь между духом бесплотным и пищей телесной... Дальше я невольно подслушала разговор двух заговорщиков – Маки и Пети:

– Зачем же вы, Петька, черт собачий, редиску на стол кидали?

– Да я что под руку попалось, Мака, – оправдывался тот.

– А! Я так и знала, что это вы жульничали.

Они оба остановились, и М. А. пытался меня подкупить (не очень-то щедро: он предлагал мне три рубля за молчание). Но я вела себя как неподкупный Робеспьер и требовала только разоблачений. Дело было просто. Петр садился рядом с М. А. и освобождал его правую руку, в то же время освобождая свою левую. Заранее под пиджак Мака прятал согнутый на конце прут. Им-то он и гладил лысые и нелысые головы, наводя ужас на участников сеанса.

– Если бы у меня были черные перчатки, – сказал он мне позже, – я бы всех вас с ума свел... [4; 127–128]

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

В ознаменование театральных успехов первенец нашей кошки Муки назван «Аншлаг».

В доме также печь имеется,
У которой кошки греются.
Лежит Мука, с ней Аншлаг.
Она – эдак,
А он так.

Это цитата из рукописной книжки «Муки-Маки», о которой я упоминала выше. Стихи Вэдэ, рисунки художницы Н. А. Ушаковой. Кошки наши вдохновили не только поэта и художника, но и проявили себя в эпистолярном жанре. У меня сохранилось много семейных записок, обращенных ко мне от имени котов. Привожу, сохраняя орфографию, письмо первое. Надо признаться: высокой грамотностью писательской коты не отличались.

Дорогая мама!

Наш милая папа произвёл пальтоновку в нашей уютной квартире. Мы очень довольны (и я Аншлаг помогал, чуть меня папа не раздавил, когда я ехал на ковре кверху ногами). Папа очень сильный один все таскал и добрый не ругал, хоть он и грыз крахмальную рубаху, а теперь сплю, мама, милая, на тахте. И я тоже. Только на стуле. Мама мы хотим, чтоб так было как папа и тебе умилим мы коты все, что папа умный все знает и не менять. А папа говорил купит. Папа пошел а меня выпустил. Ну целуем тебе. Вы теперь с папой на тахте. Так что меня нет.

Уважаемые и любящие коты.

Котенок Аншлаг был подарен нашим хорошим знакомым Стронским. У них он подрос, похорошел и неожиданно родил котят, за что был разжалован из Аншлага в Зюньку.

На обложке книжки «Муки-Маки» изображен Михаил Афанасьевич в трансе: кошки мешают ему творить. Он сочиняет «Багровый остров» [4; 133–134].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

Когда меня долго нет, коты возмущаются:

«Токуйю маму
Выбрассит вяму
Уважающийся Кот
Паппа Лег
спат его
Ря».

А вот записка от необыкновенно озорного и веселого котенка Флюшки, который будто бы бил все, что подворачивалось ему «под лапу». На самом же деле старались Мака и Анна Матвеевна, а потом мне подсовывали на память осколки и письмишко вроде этого:

«Даррагой мами от Flüchke».

Флюшка с Бутоном затевали бурные игры и возились, пока не впадали в изнеможение. Тогда они, как два распластанных полотенца, лежали на полу, все же искоса поглядывая друг на друга. Эти игры мы называли «сатурналиями». <...>

Принесенный мной с Арбата серый озорной котенок Флюшка (у нас его украли, когда он сидел на форточке и дышал свежим воздухом), – это прототип веселого кота Бегемота, спутника Воланда («Мастер и Маргарита»).

«– Не шалю. Никого не трогаю. Починяю примус...» Я так и вижу повадки Флюшки! Послания котов чередуются с записками самого М. А.

«Дорогая кошечка,

на шкаф, на хозяйство, на портниху, на зубного врача, на сладости, на вино, на ковры и автомобиль – 30 рублей.

Кота я вывел на свежий воздух, причем он держался за мою жилетку и рыдал.

Твой любящий.

Я на тебя, Ларион, не сержусь». (Последняя фраза из «Дней Турбиных». Мышлаевский говорит ее Лариосику.) [4; 161–162]

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

Английское слово spoon – ложка – ему понравилось.

– Я люблю спать, – сказал М. А., – значит, я спун [4; 141].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

Из Тифлиса к нам приехала Марика Чимишкиан. Меня не было дома. Маруся затопила ей ванну <...>. В это время к нам на Пироговскую пришел в гости Павел Александрович Марков, литературовед, сотрудник МХАТа. М. А. сказал ему:

– К нам приехал в гости один старичок, хорошо рассказывает анекдоты. Сейчас он в ванне. Выедется и выйдет...

Каково же было удивление Павла Александровича, когда в столовую вместо старичка вышла Марика! Я уже говорила, что она была прехорошенькая. Марков начал смеяться. <...>

Мака был доволен. Он радовался, когда шутки удавались, а удавались они почти всегда [4; 154].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

Существовал у нас семейный домовый Рогаш. Он появлялся всегда неожиданно и показывал свои рожки: зря нападал, ворчал, сердился по пустому поводу.

Иногда Рогаш раскаивался и спешил заглаживать свою вину. На рисунке М. А. он несет мне, Любанге, или сокращенно Банге, кольцо с бриллиантом в 5 каратов. Кольцо это, конечно, чисто символическое... [4; 161]

Елена Сергеевна Булгакова. Из дневника:
⟨1933⟩

9 ноября. ⟨...⟩ Сегодня хоронили Катаяму, японского революционного деятеля. Была остановка движения. Екатерина Ивановна (Сереежина воспитательница) с Сергеем попали в самую гущу. М. А. уверял, что они, как завзятые факельщики, шли долго за гробом со свечами в руках, низко кланяясь при этом и крестясь. (Следует замечательный показ.) [7; 44]

Елена Сергеевна Булгакова. Из дневника:
⟨1933⟩

31 декабря.

Сейчас к нам придут Калужские, Леонтьевы, Арендты.

Пришли. Было славно. Женя Калужский и Леонтьев помирали над шуточными неприличными стихами, которые М. А. сочинил к Новому году, то есть стихи были абсолютно приличные, но рифмы требовались другие. Калужские остались ночевать [7; 51].

Елена Сергеевна Булгакова. Из дневника:
⟨1935⟩

29 марта. ⟨...⟩ В «Известиях» портрет лорда Идена – хранителя печати английского. Молод и красив.

М. А. безумно смешно показывает, что это такое – хранитель печати, как он ее прячет в карман, как, оглянувшись по сторонам, вынимает, торопливо прилепывает и тут же прячет [7; 89].

Елена Сергеевна Булгакова. Из дневника:
⟨1937⟩

19 июня. ⟨...⟩ Вечером пришли к нам Мелик с Минной. Очень славно посидели. М. А. показывал оркестрантов из Большого театра, как они играют в шахматы (на медных оркестранты) и в нужный момент появляются в оркестре и ударяют в инструменты. Потом спокойно – немедленно – уходят доигрывать [7; 155].

Елена Сергеевна Булгакова. В записи В. Я. Лакишина:

Как-то, уже в пору последней болезни Михаила Афанасьевича, он сказал: «Вот, Люся, я скоро умру, меня всюду начнут печатать, театры будут вырывать друг у друга мои пьесы и тебя будут приглашать выступать с воспоминаниями обо мне. Ты выйдешь на сцену в черном платье, с красивым вырезом на груди, заломил руки и скажешь: „Отлетел мой ангел...“» – и мы оба стали смеяться, так неправдоподобно это казалось... [5; 419]

Мистификатор

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

Помню, как-то раз мы поехали навестить нашу старую приятельницу Елену Павловну Лансберг. Как начался следовавший затем розыгрыш, точно не вспомню, не знаю, кто был инициатором. Сделали вид, что пришла одна я, а М. А. должен был позвонить в парадную дверь позже и притвориться, что он фининспектор и пришел описывать антикварную обстановку Елены Павловны. Спектакль предназначался гостившей у нее родственнице из Ленинграда... Звонок. В комнату вошел – надо признаться – пренебрежительный тип. Он отрекомендовался фининспектором этого участка и начал переходить от предмета к предмету, делая ехидные замечания. Родственница (помню, ее звали Олечка) сидела с каким-то застывшим выражением лица, потом отозвала Е. П. в соседнюю комнату и тревожно сказала шепотом:

– Это авантюрист какой-то! А ты у него даже не спросила документа!

Выходя к «фининспектору», она сказала, что в Ленинграде такие визиты не практикуются... Тут ей открыли истину. Должна сказать, что свою роль М. А. провел здорово. Я, бессловесная зрительница, наблюдала, как он ловко «вошел в образ», изменив походку, манеру говорить, жесты...

Вспоминается еще один розыгрыш. Как-то в мое отсутствие вечером Маке стало скучно. Тогда он позвонил другой нашей приятельнице, Зиновии Николаевне Дорофеевой, и угасающим голосом сказал, что ему плохо, что он умирает. Зика (это ее домашнее имя) и ее подруга заканчивали перманент. Не уложив волос, завязав мокрые головы полотенцами, они обе в тревоге бросились к нам на Пироговскую, где их ждал веселенький хозяин и ужин с вином. Тут к «холодным ножкам», как говорят в народе, подоспела и я. Не скрою, я очень удивилась, увидев дам в чалмах. Но за рюмкой вина все разъяснилось к общему удовольствию [4; 154–155].

Константин Георгиевич Паустовский:

«...» Булгаков устроил у меня на даче неслыханную мистификацию, прикинувшись перед незнавшими его людьми военнопленным немцем, идиотом, застрывшим в России после войны. Тогда я впервые понял всю силу булгаковского перевоплощения. За столом сидел, тупо хихикая, белобрысый немчик с мутными пустыми глазами. Даже руки у него стали потными. Все говорили по-русски, а он не знал, конечно, ни слова на этом языке. Но ему, видимо, очень хотелось принять участие в общем оживленном разговоре, и он морщил лоб и мычал, мучительно вспоминая какое-нибудь единственное известное ему русское слово.

Наконец его осенило. Слово было найдено. На стол подали блюдо с ветчиной. Булгаков ткнул вилкой в ветчину, крикнул восторженно: «Свыня! Свыня!» – и залился визгливым, торжествующим смехом. Ни у кого из гостей, не знавших Булгакова, не было никаких сомнений в том, что перед ними сидит молодой немец и к тому же полный идиот. Розыгрыш длился несколько часов, пока Булгакову не надоело и он вдруг на чистейшем русском языке не начал читать «Мой дядя самых честных правил...»... [5; 103]

Петр Никанорович Зайцев (1889–1970), поэт; секретарь издательства «Недра»; член Всероссийского союза писателей:

Под новый, 1925 год меня пригласили в одну компанию на встречу Нового года с условием, что я приду в маскарадном костюме. Я дал согласие и в поисках подходящего и не очень расхожего костюма решил зайти к Булгаковым. У Любови Евгеньевны оказалось

несколько маскарадных костюмов, которые я стал примерять. Заодно я предложил пойти на встречу Нового года и Булгаковым. Жена отказалась, а он неожиданно согласился.

По дороге Михаил Афанасьевич предложил мне разыграть в гостях небольшую комедию:

– Вы знаете, Петр Никанорович, этот дом, а меня там никто не знает. Давайте разыграем их. Представьте меня как иностранца...

Когда мы подошли к дому и поднялись по лестнице, Михаил Афанасьевич надел небольшую, легкую черную масочку. Так мы и появились в компании. Я взял на себя роль переводчика (изъяснялись мы на французском языке, которым Булгаков владел лучше меня), а он изобразил из себя богатого господина, приехавшего в Москву с целью лучше узнать русские обряды и обычаи... Нас угощали чаем и сладостями, и мы в течение полутора часов разыгрывали наш безобидный водевиль. Но вот пробило двенадцать часов. Булгаков снял маску и представился... [5; 237–238]

Развлечения и игры

Михаил Михайлович Яншин:

Всегда жизнерадостный, легкий на подъем, всегда подобранный, с немного подпрыгивающей походкой, остроумный, очень легко идущий на всякие шутки, на всякие острые словца, устроитель всевозможных игр – в «блошки», в «бирюльки», организатор лыжных прогулок, он был неистощим на всякие выдумки, на всякого рода призы, на условия соревнования [5; 270].

Надежда Афанасьевна Земская. *Из письма К. Г. Паустовскому:*

В доме у нас все время звучали музыка и пение и – смех, смех, смех. Много танцевали. Ставили шарады и спектакли. Михаил Афанасьевич был режиссером шарадных постановок и блистал как актер в шарадах и любительских спектаклях. Весной и летом ездили на лодках по Днепру. А зимой – каток. Гимназист Булгаков, в кругу зрителей, демонстрировал «пистолет» и «испанскую звезду». Летом у нас на даче (в Буче под Киевом) процветал крокет: играли со страшным азартом, играли, бывало, до темноты, кончая при лампах. Мама принимала участие в этих крокетных турнирах наравне с нами; играла она хорошо. Затем крокет отошел на задний план, пришло общее увлечение теннисом. Это была дорогая игра. Ракетки и мячи покупали мы, старшие дети, на заработанные нами деньги. Стали постарше, не бросая крокета и тенниса, увлеклись игрой в винт. Играли и в шахматы, и в шашки; в доме процветали «блошки» – настольная игра [5; 56–57].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

В шарадах он был асом. Вот он с белой мочалкой на голове, изображающей седую шевелюру, дирижирует невидимым оркестром. (Он вообще любил дирижировать. Он иногда брал карандаш и воспроизводил движения дирижера – эта профессия ему необыкновенно импонировала, даже больше: влекла его.) Это прославленный дирижер Большого театра – Сук (слог первый шарады).

Затем тут же в гостиной двое (Лидун и «помидорчик») играют в теннис. Слышится «аут», «ин», «сёртин». Весь счет в этой игре и все полагающиеся термины с легкой руки Добрыниных произносятся на английском языке. («Ин» – слог второй шарады.) Третье – сын. Возвращение блудного сына. А все вместе... с террасы в гостиную сконфуженно вступает, жмурясь от света, дивный большой пес Буян – сукин сын.

Уж не помню, в какой шараде, но Мака изображал даму в капоте Лидии Митрофановны – в синем с белыми полосками – и был необыкновенно забавен, когда по окончании представления деловито выбрасывал свой бюст – диванные подушки. М. А. изобрел еще одну игру. Все делятся на две партии. Участники берутся за края простыни и натягивают ее, держа почти на уровне лица. На середину простыни кладется легкий комок расщепленной ваты. Тут все начинают дуть, стараясь отогнать ее к противоположному лагерю. Проигравшие платят фант... Состязание проходило бурно и весело [4; 126–127].

Михаил Михайлович Яншин:

И тут невольно вспоминается Маяковский.

«...» Оба жизнерадостны, причем страстные бильярдисты, опять-таки разных стилей. Маяковский обладал необыкновенно сильным ударом, любил класть шары так, что «лузы трещали». Булгаков играл более тактично, более вкрадчиво, его удары были мягче, эластичнее и зачастую поражали своей неожиданной меткостью [5; 269–270].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

У нас была такая игра: задавать друг другу какой-нибудь вопрос, на который надо было ответить сразу, ничего в уме не прикидывая и не подбирая. Он меня раз спросил:

– Какое литературное произведение, по-твоему, лучше всего написано?

Я ответила: «„Тамань“ Лермонтова». Он сказал: «Вот и Антон Павлович так считает». И тут же назвал письмо Чехова, где это сказано. Теперь-то, вспоминая, я вижу, как он вообще много знал. К тому же память у него была превосходная... [4; 142–143]

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

Когда приходили к нам старые приятели: Понсовы, Сережа Топленинов, Петя Васильев, мы устраивали «блошинные бои». М. А. пристрастился к этой детской игре и достиг в ней необыкновенных успехов, за что получил прозвище «Мака-Булгака – блошинный царь». Заходил сразиться в блошки и актер Камерного театра Т. Ф. Волошин со своей миниатюрной и милой женой, японкой Инамэ-сан («Хризантема»). Иногда мы ходили на стадион химиков играть в теннис. <...>

В те годы мы часто ездили в «Кружок» – клуб работников искусств в Старопименовском переулке. <...>

В бильярдной зачастую сражались Булгаков и Маяковский, а я, сидя на возвышении, наблюдала за их игрой и думала, какие они разные. Начать с того, что М. А. предпочитал «пирамидку», игру более тонкую, а Маяковский тяготел к «американке» и достиг в ней большого мастерства [4; 150–151].

Елена Сергеевна Булгакова. Из дневника:

<1934>

2 июня. <...> Вечером были у Поповых. М. А. и Патя выдумали игру: при здравовании или прощании успеть поцеловать другому руку – неожиданно. Сегодня успел Патя. Веселятся при этом, как маленькие [7; 61].

Елена Сергеевна Булгакова. Из дневника:

<1934>

24 декабря.

Елка была. Сначала мы с М. А. убрали елку, разложили под ней всем подарки. Потом потушили электричество, зажгли свечи на елке, М. А. заиграл марш, – и ребята влетели в комнату. Потом – по программе – спектакль. М. А. написал две сценки (по «Мертвым душам»). Одна – у Собакевича. Другая – у Сергея Шиловского. Чичиков – я. Собакевич – М. А. Потом – Женичка – я, Сергей – М. А.

Гримировал меня М. А. пробкой, губной помадой и пудрой.

Занавес – одеяло на двери из кабинета в среднюю комнату. Сцена – в кабинете. М. А., для роли Сергея, надел трусы, сверху Сергеево пальто, которое ему едва до пояса доходило, и матроску на голову. Намазал себе помадой рот.

Зрители: Ольга, Сусанна и мальчишки. Успех.

Потом ужин рождественский – пельмени и масса сладостей. Калужский пришел со спектакля в двенадцатом часу [7; 84].

Елена Сергеевна Булгакова. Из дневника:

<1937>

2 июля. <...> После обеда пошли на балкон и стали втроем забавляться игрой – пускали по ветру бумажки папиросные и загадывали судьбу – высоко ли и далеко ли полетит бумажка [7; 158].

Александр Михайлович Файко:

А иногда вечерами мы играли в игры, которые выдумывал хозяин. Особенно он любил игру в отметки, когда мы, каждый от себя, должны были оценивать кандидатов той или другой степенью балла. «Так это же просто игра во „мнения“», – сказала моя жена в первый раз. «Нет, мадам, вы ошибаетесь, – отвечал Булгаков. – Это мнения, но не так уж это просто. Мы должны оценить человека не за какие-либо особые его качества, а за весь комплекс присущей ему личности. Дело не только в интеллекте, чуткости, такте, обаянии и не только в таланте, образованности, культуре. Мы должны оценить человека во всей совокупности его существа, человека как человека, даже если он грешен, несимпатичен, озлоблен или заносчив. Нужно искать сердцевину, самое глубокое средоточие человеческого в этом человеке и вот именно за эту „совокупность“ ставить балл». – «Да, это, пожалуй, не „мнения“», – сказала «мадам Помпадур» и задумалась. К столу подсаживались Елена Сергеевна, С. Ермолинский или П. Попов, но обыкновенно народу на наших священнодействиях бывало немного. Не стану называть кандидатов, попадавших в списки оцениваемых лиц, – это ничего не объяснит. Важны результаты, а не отбор. Когда наши мнения сходились и некий Н., мало чем известный, тихий, скромный человек, единодушно получал высшую оценку, Булгаков ликовал. «За что? – спрашивал он с сатанинским смехом. – За что мы ему поставили круглую пятерку, все, без исключения?» Он чуть не плакал от восторга, умиления и невозможности понять непонятное... [5; 351–352]

С детьми

Надежда Афанасьевна Земская:

Он очень любил детей, в особенности мальчишек. Он умел играть с ними. Он умел им рассказывать, умел привязать их к себе так, что они за ним ходили раскрывши рот [5; 55].

Елена Сергеевна Булгакова. Из дневника:

⟨1933⟩

28 сентября. ⟨...⟩ М. А. каждый вечер рассказывает Сергею истории из серии «Бубкин и его собака Конопат». Бубкин – воображаемый идеальный мальчик, храбрец, умница и рыцарь. Его приключения. Вечером, когда Сергей укладывается, Миша его спрашивает: «Тебе какой номер рассказать?» – «Ну, семнадцатый». – «Ага. Это, значит, про то, как Бубкин в Большой театр ходил с Ворошиловым. Хорошо». И начинается импровизация [7; 39].

Виктор Ефимович Ардов:

В памяти моей достаточно рельефно и сегодня еще возникает картина появления Михаила Афанасьевича в нашей крошечной квартире первого этажа в Нащокинском переулке. Вот он входит вместе с Сережей. Происходит несколько церемонный обряд взаимных приветствий. Затем мальчики изъявляют желание отправиться поиграть во двор. Михаил Афанасьевич дружески и вместе с тем строго предупреждает пасынка против возможных эксцессов во время этой прогулки. Говорит он тихим голосом, но услышать можно. И тут бросается в глаза его удивительная манера говорить даже с ребенком: уважительно и мягко, заставляя Сережу логически мыслить вместе с собою. Примерно так:

– Ну, сам посуди, друг мой, в каком виде предстанем мы перед твоей мамой, если ты поведешь себя недостойным образом – например, испачкаешь или порвешь платье, примешь участие в драке и так далее... Очень тебя прошу: подумай и о моей ответственности за твое поведение...

Если бы не бесконечная доброта Михаила Афанасьевича и его лучистый юмор, такие нотации производили бы впечатление нудных. Но Булгаков изредка косит и на меня большим серым глазом – оцениваю ли я смысл его рацей – и к мальчику наклоняется так доверительно, с такой деликатностью и любовью, что трудно сдерживать смех... А смеяться нельзя: ведь это – педагогическая акция!..

Сережа внятно заявляет, что он вполне понимает свою ответственность перед дядей Мишей и мамой. Мальчики удаляются [5; 340].

Елена Сергеевна Булгакова. Из письма А. С. Нюренбергу. 23 февраля 1961 г.:

Миша иногда, глядя на Сергея малого, разводил руками, поднимал плечи и говорил: «Немезида!.. Понимаешь ли ты, Сергей, что ты – Немезида?» На что Сережка оскорбленно отвечал: «Мы еще посмотрим, кто Мезида, а кто Немезида!» И приводил этим Мишу в восторг. Вообще он все время задевал мальчишку. «Эх, Сергей, как тебе не стыдно, как ты читаешь!.. Те...ле...фон... Позор! Тебе шесть лет, а ты по складам читаешь?» Сергей отвечал: «Ну де, когда меня только сейчас учить начали... вот если бы начали в два года! Вот я теперь бы читал! Во – как читал!..» – и тяжело вздыхал при этом. «Довольно, довольно! Ах, если бы мне вернуть молодость!.. фаустовские настроения... оставь, оставь, Сергей, ты эту андреевщину!..» И Сергей, уже хохоча, приставал к нему, что такое андреевщина. Их разговоры, их отношения – это вообще было представление, спектакль для меня. Если Миша ехал кататься на лодке и Сергей приставал, как о том и мечтал Миша, к нему, чтобы его взяли с собой, Миша брал с него расписку, что он будет вести себя так-то и так-то (эти

расписки у меня сохранились, конечно). По пунктам – договор и подпись Сергея. Или в шахматы. Миша выучил его играть, и когда выигрывал Сергей (сами понимаете, это надо было в педагогических целях), Миша писал мне записку: «Выдать Сергею полплитки шоколаду». Подпись. Хотя я сидела в соседней комнате. – А то они писали заговорщицкое письмо и клали его в почтовый ящик на двери и всячески вызывали меня посмотреть: нет ли чего в ящике... [7; 328–329]

Елена Сергеевна Булгакова. Из дневника:

⟨1937⟩

1 января.

Новый год встречали дома. Пришел Женичка. Зажгли елку. Были подарки, сюрпризы, большие воздушные шары, игра с масками.

Ребята и М. А. с треском били чашки с надписью «1936#й год», – специально для этого приобретенные и надписанные [7; 128].

Елена Сергеевна Булгакова. Из дневника:

⟨1937⟩

29 сентября.

«Бег» с утра.

М. А. искал фамилию, хотел заменить ту, которая не нравится. Искали: Каравай... Караваев... Пришел Сережка и сказал – «Каравун». М. А. вписал.

Вообще иногда М. А. объявляет мальчикам, что дает рубль за каждую хорошую фамилию. И они начинают судорожно предлагать всякие фамилии (вроде «Ленинграп»...).

А весной была такая игра: мух было мало в квартире и М. А. уверял, что точно живет в квартире только одна старая муха Мария Ивановна. Он предложил мальчикам по рублю за каждую муху. И те стали приносить, причем М. А. иногда, внимательно всмотревшись, говорил – эта уже была. С теплом цена на мух упала сначала до 20 копеек, а потом и до пятачка [7; 169].

Елена Сергеевна Булгакова. Из дневника:

⟨1937⟩

7 декабря. ⟨...⟩ Сегодня день рожденья Женюши, – он называется еще у нас «номер первый». Это М. А. выдумал игру: они трое (М. А., Женичка и Сергей) спрашивают меня в отдельности, кого я больше всех люблю, кто первый номер [7; 177].

Жилище

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

«1934»

23 августа. «...» Для М. А. квартира – магическое слово. Ничему на свете не завидует – квартире хорошей! Это какой-то пунктик у него [7; 64].

1918. Киев

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с Л. Паршиным:*

Л. П. Интересно, Татьяна Николаевна, а обстановка квартиры какая была... вот если сравнить с «Белой гвардией». Часы с гавотом, например...

Т. К. Таких часов я не помню. В столовой висели настенные часы где-то, но только они никакого гавота не пели. Ковров тоже никаких не было. Это Булгаков от Саратова взял. Мой отец очень ковры любил и все деньги на них тратил. Вся квартира в коврах была. Михаилу очень это нравилось. А в Киеве... может, и были какие-то у кровати такие... но я их не помню.

Л. П. А вот печка...

Т. К. Да, печка была, но на ней никаких надписей не было.

Л. П. Рисунок, он пишет...

Т. К. И рисунков никаких не было.

Л. П. А где были книги? В «Белой гвардии» говорится про «книжную»...

Т. К. Книг я там никаких не видела. По-моему, там книг и не было. Был кабинет – вот эта угловая комната с отдельным ходом – ну, там письменный стол стоял, еще что-то. Но книг не было. В гостиной пианино стояло, стол, диван вот так был, и лампа стояла такая... металлическая, сверху абажур. Очень красивая.

Л. П. Булгаков какую мебель любил?

Т. К. Такую... мягкую, хорошую. Но в квартире не такая мебель была, как он описывает. Правда, бархат был, но такой... потертый. Не было этого, чтобы вазы, цветы, мол, стояли. Скромная мебель была. Кремовых штор тоже не было. Были просто занавески [12; 59].

1921–1924.

Москва, ул. Большая Садовая, 10, кв. 50

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с Л. Паршиным:*

Эта квартира не такая, как остальные, была. Это бывшее общежитие, и была коридорная система: комнаты направо и налево. По-моему, комнат семь было и кухня. Ванной, конечно, никакой не было, и черного хода тоже. Хорошая у нас комната была, светлая, два окна. От входа четвертая, предпоследняя, потому что в первой коммунист один жил, потом милиционер с женой, потом Дуся рядом с нами, у нее одно окно было, а потом уже мы, и после нас еще одна комната была. В основном, в квартире рабочие жили. А на той стороне коридора, напротив, жила такая Горячева Аннушка. У нее был сын, и она все время его била, а он орал. И вообще, там невообразимо что творилось. Купят самогону, напьются, обязательно начинают драться, женщины орут: «Спасите! Помогите!» Булгаков, конечно,

выскакивает, бежит вызывать милицию. А милиция приходит – они закрываются на ключ и сидят тихо. Его даже оштрафовать хотели [12; 94].

Михаила Афанасьевич Булгаков. *Стихи из письма Н. А. Булгаковой. Москва, 21 октября 1921 г.:*

На Большой Садовой
Стоит дом здоровый.
Живет в доме наш брат
Организованный пролетариат.
И я затерялся между пролетариатом
Как какой-нибудь, извините за выражение,
атом.
Жаль, некоторых удобств нет,
Например – испорчен вате»р-к«лозе»т.
С умывальником тоже беда:
Днем он сухой, а ночью из него на пол
течет вода.
Питаемся понемножку:
Сахарин и картошка.
Свет электрический – странной марки:
То потухнет, а то опять ни с того
ни с сего разгорится ярко.
Теперь, впрочем, уже несколько дней
горит подряд,
И пролетариат очень рад.
За левой стеной женский голос
выводит: «бедная чайка...»,
А за правой играют на балалайке

[2; 400–401].

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из дневника:*
«1923»

29 октября. «...» Сегодня впервые затопили. Я весь вечер потратил на замазывание окон. Первая топка ознаменовалась тем, что знаменитая Аннушка оставила на ночь окно в кухне настежь открытым. Я положительно не знаю, что делать со сволочью, что населяет эту квартиру.

У меня в связи с болезнью тяжелое нервное расстройство, и такие вещи выводят меня из себя [3; 149].

Валентин Петрович Катаев:

Мы вместе, путаясь холодными руками, засовывали пучок пылающих лучин в самовар: из наставленной трубы валил зеленый дым, вызывавший у нас веселые слезы, а сквозняк нес по ногам из-под кухонной двери. Голая лампочка слабого накала свисала с темного потолка не ремонтировавшейся со времен первой мировой войны квартиры в доме «Эль-пит-рабкоммуна» [10; 224].

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с Л. Паршиным:*

Там кое-какая мебель уже была, и посуда какая-то была. У нас ничего не было. Только одна керосинка... нет, и керосинки не было. Ничего не было. А там, значит, диван был, зеркало большое, письменный стол, походная кровать складная, два шкафчика было... один потом Мария Даниловна забрала и походную кровать тоже. Кресло какое-то дырявое было. Потом, как-то я иду по улице, вдруг: «Тасечка! Здравствуйте!» – жена казначея из Саратова. Она уже в Москве жила, и у них наш стол оказался и полное собрание Данилевского. И вот, мы с Михаилом тащили это через всю Москву. Старинный очень стол, еще у моей прабабушки был. <...> Еще, заплатили Михаилу за что-то, он будуарную мебель купил. Она, правда, не подходила к нашей комнате, потому что у нас высокий потолок был, а мебель такая миниатюрная. Но комнату украшала хорошо [12; 95–96].

Валентин Петрович Катаев:

У синеглазого был настоящий большой письменный стол, как полагается у всякого порядочного русского писателя, заваленный рукописями, газетами, газетными вырезками и книгами, из которых торчали бумажные закладки.

Синеглазый немножко играл роль известного русского писателя, даже, может быть, классика, и дома ходил в полосатой байковой пижаме, стянутой сзади резинкой, что не скрывало его стройной фигуры, и, конечно, в растоптанных шлепанцах.

На стене перед столом были наклеены разные курьезы из иллюстрированных журналов, ругательные рецензии, а также заголовок газеты «Накануне» с переставленными буквами, так что получалось не «Накануне», а «Нуненака» [10; 224].

1924.

Москва, Обухов (ныне Чистый) пер., 9.

«Голубятня»

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

Мы живем на втором этаже. Весь верх разделен на три отсека: два по фасаду, один в стороне. Посередине коридор, в углу коридора – плита. На ней готовят, она же обогревает нашу комнату. В одной комнатухе живет Анна Александровна, пожилая, когда-то красивая женщина. В браке титулованная, девичья фамилия ее старинная, воспитанная Пушкиным. Она вдова. Это совершенно выбитое из колеи, беспомощное существо, к тому же страдающее астмой. Она живет с дочкой: двоих мальчиков разобрали добрые люди. В другой клетушке обитает простая женщина, Марья Власьевна. Она торгует кофе и пирожками на Сухаревке. Обе женщины люто ненавидят друг друга. Мы – буфер между двумя враждующими государствами. Утром, пока Марья Власьевна водружает на шею сложное металлическое сооружение (чтобы не остывали кофе и пирожки), из отсека А. А. слышится не без трагической интонации:

– У меня опять пропала серебряная ложка!

– А ты клади на место, вот ничего пропадать и не будет, – уже на ходу басом говорит М. В.

Мы молчим. Я жалею Анну Александровну, но люблю больше Марью Власьевну. Она умнее и сердечнее. Потом мне нравится, что у нее под руками все спорится. Иногда дочь ее Татьяна, живущая поблизости, подкидывает своего четырехлетнего сына Витьку. Бабка

обожает этого довольно противного мальчишку. М. А. любит детей и умеет с ними ладить, особенно с мальчиками. <...>

Когда плаксивые вопли Витьки чересчур надоедают, мы берем его к себе в комнату и сажаем на ножную скамеечку. Здесь я обычно пасую, и Витька переходит целиком на руки М. А., который показывает ему фокусы. Как сейчас слышу его голос: «Вот коробочка на столе. Вот коробочка перед тобой... Раз! Два! Три! Где коробочка?» <...>

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.